

Культура и зло

Мурзин Н.Н.,

к. филос. н., научный сотрудник Центра философских проблем
социальных и гуманитарных наук
Института философии РАН
ORCID 0000-0002-0439-2019
shywriter@yandex.ru

Аннотация: Мы живем в турбулентное время, когда Ницшевой «переоценке ценностей» подвергаются сами основы обществ, культур и цивилизаций, еще недавно казавшиеся незыблемыми нормы этики, политики, даже науки. На самом деле они не были незыблемыми — все в истории меняется и пересматривается. Возможно, из какой-нибудь точки будущего сегодняшние идеологические войны предстанут нашим потомкам чем-то весьма тривиальным. Тем не менее нам, живущим «в моменте», трудно отрешиться от апокалиптического ощущения не просто меняющегося, но буквально рушащегося мира. Пока еще эти ощущения локальны, апокалипсис захватывает лишь отдельные сегменты пространства и времени. Спор между истиной и ложью, к сожалению, разрешается не в кабинетах и на досках, но на полях сражений, а счет идет на тела и жизни. Одно это, как ничто другое, демонстрирует, насколько далеки мы от чаемого «конца истории», насколько склонны до сих пор доказывать истины кровью, а не словами и цифрами. Битвы кипят не только вокруг территорий и ресурсов. Не в меньшей, а то и в большей степени они затрагивают смыслы, с помощью которых люди выстраивают свою идентичность. И здесь под ударом оказывается культура — драгоценное накопление человеческого духа. Культура мобилизуется и атакуется. Ей не дозволяется остаться в стороне, и само это «в стороне» вызывает все больше вопросов, если не явственного гневного отторжения. Культура вовлекается в конфликт, преследуется, обвиняется. Чем бы все ни кончилось, очевидно — прежней ей уже не быть.

Ключевые слова: культура, конфликт, зло, человечество, мир, Толкин

*— Справедливость и право на моей стороне, — сказал он. —
Я угнетенный, а вот — угнетатель! Это из-за него я потерял
все, что любил, все, что мне было дорого и свято, — родину,
жену, детей, отца, мать — все! Все, что я ненавижу, — здесь,
на этом корабле! Молчите же!*

Ж. Верн. 20 000 лье под водой

Культ упрощенно толкуемой борьбы — политической, идеологической, научной — повлек за собой в эти годы негативное, предвзятое отношение ко многим явлениям и корифеям всей прошлой и зарубежной культуры.

А.П. Огурцов. Подавление философии

*И тогда надо мной неясно,
Где-то там, в вышине голубой,
Чей-то голос порывисто-страстный
Говорит о борьбе мировой.*

Н. Гумилев. Иногда я бываю печален...

1

Сегодня произносится много слов, оправданных в своей горечи, об ответственности культуры за злодеяния людей, отождествляемых (и отождествляющих себя) с нею. Возмездие не заставляет себя ждать. Сносят памятники, запрещают книги, переписывают старые сюжеты. Принимаемые борющимися сторонами меры ошеломленному наблюдателю порой кажутся откровенно бредовыми. Политика вновь мощно вторгается в области, которые еще недавно милостиво игнорировала. И раз на дворе повторение пройденного, значит, урок истории не выучен — о чем предупреждал еще Гегель.

Цель данного текста — полемическая. Я не пытаюсь дать новых глубоких определений «культуре» и «злу». Наоборот, я сознательно пытаюсь удерживаться на том уровне дискуссии, который кипит вокруг этих понятий сейчас. Боль очевидности — то драгоценное, но постоянно ускользающее сокровище, которое самые совестливые из участвующих в споре сегодня пытаются сохранить, но платят за это страшным надрывом. Зазор между очевидным и концептуальным — вообще родовое проклятие философии. Кричащая сила очевидности не передается, по большей части, ничем, кроме искусства. Она странным образом бледнеет для разума — а также истаивает со временем, что и дало основания тому же Гегелю предположить, что рефлексия любого явления непосредственно связана со «снятием» острой актуальности его («сова Минервы вылетает в сумерках»), свойственным темпоральному дистанцированию. Речь не о том, что нечто лучше понимаешь, когда тебя от него отделит какое-то время. А о том, что время не оставит тебе иного выбора, кроме как *думать* о вещи, потому что саму вещь отнимет. Но это — с одной стороны; все уносится, все исчезает. Как быть с тем, что, с *другой* стороны, ничего не исчезает, и вряд ли сейчас можно отыскать хоть один старый конфликт, который в той или иной форме не воскрес бы. Вдруг выяснилось, что никуда не делся антисемитизм. Сколько еще сюрпризов нас ждет, сколько империй готовы стряхнуть прах веков со своих истлевших доспехов и восстать, чтобы продолжать свои бессмысленные войны?

Нынешнее разбирательство с «культурным наследием» (к чему, по большей части, и сводят культуру) имеет несколько характерных черт, от которых я и буду отталкиваться.

Во-первых, культура толкуется как измененная форма войны и власти, а не средоточие гуманистических ценностей, призванных стоять над этими реалиями или даже противостоять им. Культура преподносится как транслятор ценностей общества, которому она (якобы) принадлежит, и, в целом, как знак и выражение его присутствия там, где его силой что-то атакуется, подавляется, утверждается. В конечном итоге, культура воспринимается как пропаганда, т. е. попытка того или иного политического режима навязать свое представление о вещах там, где он пока еще (или уже) не ведет прямой, открытой, захватнической войны.

В то же время культура явственно превосходит (трансцендирует) эти цели. Предметы, созданные непосредственно как орудия убийства и разрушения, используемые на войне, не вызывают столь сильных колебаний в вопросе о своей природе. С ними все ясно. В случае же культуры речь идет о предмете вроде бы ином, но связываемом судящим разумом со злом, в причастности к которому он его обвиняет. Культура — подлинная культура — никогда не бывает *создана* злом; зло создает в лучшем случае убогие подделки под нее. Однако зло может *использовать* вещи, созданные свободным человеческим гением. Поэтому тоталитарные режимы стремились не только производить усредненную культурную продукцию, на создание которой работали, как правило, бездарные, но усердные рабы. Но еще и обманом, хитростью, шантажом, угрозами заполучить в свое распоряжение истинные таланты. Именно их творения, позже входившие в золотой фонд культуры, и оказывались часто замараны двусмысленностью своего происхождения, влиянием принуждения и проекцией навязанных им установок, что приводило — и приводит поныне — к размолвкам на их счет.

Критиков культуры — в том числе выдающихся, вроде Ницше — не счесть. И вот сегодня снова идет процесс. Под судом — конкретные культуры (какие, укажем ниже). Задача обвинителей — доказать связь, а главное — обосновать вывод, т. е. приговор, который следует из доказанности обвинения. Говоря языком Канта, обвинение в данной ситуации выносит не аналитическое, а синтетическое суждение, предикат которого *не* заключен явным образом в субъекте. Вина не очевидна. Была бы она очевидна, схватили бы непосредственно на месте преступления, никакого суда не понадобилось бы — разве что суд Линча. Но культуру обвиняют не как виновную в смысле исполнения злых дел. Культура сама никого не вешает, не расстреливает, не сжигает. Однако быть обвиненной как вдохновитель или оправдатель, соучастник или благополучатель зла, в лучшем случае — как существо, проявляющее к нему преступную слепоту и намеренное двоедушие, для культуры вполне возможно.

Задержимся еще немного на сравнении культуры с орудием. Будь культура создана для зла, с ней никто не церемонился бы. Это, в свою очередь, означает, что культура и зло НЕ тождественны. А это, в свою очередь, означает, что обвиняемый оказывается расторгнут с самим собой. Он делится на то, что однозначно виновно, и на то, по поводу чего идет спор. Почему идет спор? Почему культуру *обвиняют* во зле? Очевидно, потому, что

подразумевается, что ее природа и цель (говоря Аристотелевым языком, энтелехия) изначально иные — отличные от зла или даже противоположные ему. Обвиняя культуру, мы сетуем и досадуем, потому что, с нашей точки зрения, культура, допустив зло или предавшись злу, изменила собственному предназначению. Культуру судят не просто как соучастника, но как изменника. Танк не судят. Он «солдат». Культура — перебежчик.

Значит, все-таки культура — нечто нейтральное, зависящее лишь от морального облика ее нынешнего «правообладателя»? Чтобы не запутаться в этом противоречии, обвинитель взвинчивает ставки. В угаре доказательства культуру начинают уличать в том, что она с самого начала была агентом зла, а культурой, соответственно, только притворялась. Все ее содержание, сама ее душа всегда были преданы злу. А это значит, что культура из соучастника или предателя превращается в *агента*. Обвинитель теперь предлагает не просто приговорить культуру за зло, но лишить ее самого статуса культуры. Она симулякр, обманка, проводник и обличие властных нарративов. Она должна быть разоблачена, и на этом основании (даже большем, чем само зло) навсегда отвергнута.

Страсти вокруг культуры доказывают, что она затрагивает людей сильнее снарядов. По крайней мере тех людей, которые сидят все же не под снарядами. Мы видим, что там, где вопрос выживания (пресловутый «экзистенциальный фактор») не стоит остро, люди все равно сражаются — за смысл, за самый воздух, которым они дышат. Шеллинг сказал: «Нет настоящей борьбы там, где отсутствует возможность победы с любой стороны» [14, с. 397]. Безжалостность требования победы (и, соответственно, поражения) уравнивается нашей волей к сохранению и использованию всего, что мы обнаруживаем в нашем возможном распоряжении. Но зло требует однозначного к себе отношения. Там, где затронуто зло, мы не можем позволить себе прагматизма или релятивизма. Борьба со злом — это настоящая борьба, по Шеллингу. Один из противников должен пасть. Соучастник врага на войне — тоже враг. Так культура из подельника или агента влияния делается врагом.

Почему не предположить, что культура — заложник зла? Но чей она тогда заложник? Мы зовем заложником одного из своих или нейтральных, захваченных врагом с целью давления на нас. Однако культура признается всеми собственностью того общества, которое поддерживает ее и поддерживает себя с ее помощью. Какое дело мне, если я еврей или француз во время Второй мировой войны, до великой немецкой культуры? Что мне до того, что она якобы заложник нацистской власти? Нет, это *моя* культура, *моя* страна, *мои* люди, *мой* образ жизни признаются мной заложниками врага. А его *собственная* культура, каким боком она должна признаваться мной заложником? Не то чтобы я ее прямо ненавижу. Но по большому счету, мне на нее плевать. Американцы разбомбили Дрезден, не посмотрев, что это памятник архитектуры¹. И в самом деле, разве нацисты своими преступлениями не заслужили адекватного ответа?

Но по большому счету, мы критикуем культуру, потому что разочарованы в ней. Даже если она не перебежчик, не агент влияния, не маска, не враг, она — неудавшийся проект. Мы возлагали на нее (а еще на прогресс, науку, цивилизацию) надежды, которые она не

¹ О мотивации данного поступка, военной и политической его целесообразности до сих пор кипят жаркие споры. Есть даже версия, согласно которой это не просто акция устрашения/мести, направленная против немцев, но и своего рода завуалированное «послание» Сталину и наступающим советским войскам.

оправдала². В нашем представлении, культура (в значении культурности) должна была послужить не просто заслоном от зла, но действенным средством его постепенного искоренения, движения к кантовскому «вечному миру». Сегодня мы с таким потрясением заговорили о связи культуры и зла, потому что неожиданно выяснилось, что вопрос о культуре — это и есть, в первую очередь, вопрос о зле. Это зло находится в центре нашего интереса к вещам, которые должны от зла помогать. Каким образом зло выживает, приспосабливается, мимикрирует, принимает обличия чего угодно? Есть ли вообще какое-либо средство против него, если абсолютно все — вера или безверие, культурность или бескультурье, власть или подавленность властью — могут послужить его колыбелью?

3

Если культура неотделима от общества, от народа, от языка, тогда вопроса о ее роли в конфликте наций даже не стоит. Валерий Брюсов, большой поклонник японской культуры (на рубеже XIX–XX вв. это вообще было модно), когда началась русско-японская война, первый сказал, что не заплачет, если все милые его сердцу вещицы будут размолоты русскими бомбами в прах. Но все изменилось с того момента, когда люди вспомнили, что каждый человек и каждый народ — часть человечества.

Факт принадлежности к некоей глобальной общности проделал огромный путь от биологической данности до определяющего фактора мировой политики, до уровня рефлексии и, в конечном итоге, самосознания, воплощенного в лучших представителях этого самого человечества. Культура — по крайней мере, ее высшие формы — перестала мыслиться как сливки национального духа и стала вкладом того или народа в общемировую копилку смыслов и практик. Культура превратилась во всемирный банк. Она более не принадлежала обществу; это общество принадлежало ей и обязывалось ее поддерживать³. Этот процесс протекал не только в пространстве, но и во времени. Знание, теории и практики всегда курсировали между народами, способствуя общению и т. н. «диалогу культур». Так что, когда на рубеже XVIII–XIX вв. Гегель провозгласил, что все народы суть ипостаси единого мирового духа, он имел в виду не то, что каждый народ должен мыслить себя как бы монадой человечества, долженствующей одолеть другие, конкурирующие формы человечности, навязать другим народам свою субъектность или уничтожить их в процессе, поставив знак равенства между «человечеством» и «собой». Нет, отныне они стали подобны

² Эту позицию ярко представлял Т. Адорно, задававшийся вопросом, «как можно писать стихи после Освенцима».

³ Изменилась и роль носителя культуры. Из фаворита, развлекающего власть и способствующего ее престижу, он превратился в «интеллигента» — существо подозрительное, служащее как будто какому-то другому началу, а не правителям национальных государств. Но поскольку правители так устроены, что «другое начало» понимают исключительно в смысле «правителя другого государства» (а Бог или «мировой дух» для них пустой звук), не за горами было причисление изменившихся мыслителей и художников к изменникам, заграничным наймитам и прочим «врагам народа». С тех пор сознание практически любого общества разорвано. С одной стороны, люди с готовностью посылают своих умников и талантов учиться в университеты, понимая, что это представители иной градации человечества и место им среди им подобных, там, где они будут заниматься интеллектуальной и эстетической деятельностью на благо чего-то «высшего». С другой стороны, глухой ресентимент, всегда подпитываемый властью, будет держать наготове оскорбительные сомнения в оправданности всей этой «духовной» деятельности на благо какого-то непонятного человечества. Носители ума и таланта будут держаться под присмотром, использоваться для унижающих их целей, постоянно балансировать в одном шаге от объявления их «туеядцами» или, что хуже, «еретиками».

инструментам, ведущим свою партию в мировой гармонии. Должны были появиться институты, представляющие эту мировую гармонию, — например, всемирные выставки, смотр научных, технических и культурных достижений разных стран, олимпийское спортивное движение, позднее — ООН, ЮНЕСКО и т. п.

До поры эти страны все равно составляли лишь западную ойкумену, многие в этот оркестр человечества еще не были приглашены. Но разве на основании этой неизбежной первичной ограниченности данная форма должна быть развенчана и отвергнута? Ею было положено начало. Всеми современными (и на этом основании якобы более) прогрессивными институтами мы обязаны тем первым шагам, которые были предприняты тогда, людьми, как нам сейчас представляется, с куда более узким гуманистическим горизонтом, чем мы.

Подобно тому, как институты обеспечивали разрастание человечества в пространстве, культура стала синонимом для разрастания единого человеческого духа во времени. Шопенгауэр заговорил о вневременной республике ученых, т. е. не просто о разнообразных академиях наук в разных странах, которые объединяли живых и действующих ученых, но о единстве мыслителей во времени и над временем. То, что сегодня презрительно именуется «культурой мертвых белых мужчин», по сути дела, было всегда чем-то преодолевающим смерть и другие ограничения времени. Наши учебники и антологии, энциклопедии и хрестоматии — хранилища памяти, а не склепы. Культура — это диалог, ведущийся во времени, разговор живых и мертвых, не меньше, чем разбросанных в пространстве и поделенных по каким-то имманентным признакам: гендерным, расовым, классовым... Информация может показаться горой безразличных знаков или хаосом без необходимого навигатора, но в своей нейтральности она является таким же проектом всемирного и всечеловеческого сознания, как упомянутые институты или новообретенная мировая культура.

Все, что люди накопили прекрасного и полезного, должно было превратиться в информацию, в единообразное содержание единого человеческого разума (огромный вклад в этот проект внесли энциклопедисты Просвещения). На этом пути, однако, возникли собственные опасности. Испугавшись, что слишком многое потеряется и сотрется при перегонке сокровищ мирового духа в этот единый код, культурные элиты устроили романтический и релятивистский бунт. После тех великих вершин обобщения, которые были достигнуты в модерне, Просвещении и немецком идеализме, человечество, испугавшись рисков и вольных горизонтов, снова отступило на национальные позиции, которые, накануне их вечного оставления, вдруг показались втрое уютными и привлекательными. Плюс, конечно, возник вопрос, каким должен быть универсальный код для великого объединения знаний и культур? Должна ли это быть диалектика Гегеля? Или абсолютно строгая наука? Спор между конкурирующими претендентами на роль универсальной доктрины внес свою лепту в де(кон)струкцию мега-проектов и мета-нарративов. Только поэтому через сто лет после Гегеля, после фразы Шеллинга «поэт строит свой рассказ на явлениях не национальной, а общей жизни» [14, с. 386], появился Шпенглер, провозгласивший изолированность культур и их несводимость друг к другу. Написанная им книга неспроста называлась «Закат Европы» и, по сути, повествовала не о политическом умалении реального субъекта власти, а об отказе от глобалистских притязаний, которые этот субъект к тому времени уже мыслил основной колеей своего существования и дальнейшего развития.

Сыграло (и по-прежнему играет) свою роль и то, что универсалистские проекты вызревали в недрах все еще национальных культур, а значит, могли на этом основании рассматриваться с недоверием и подозрением другими культурами, как проекция геополитических поползновений соперника на глобальное доминирование. Уже тогда работала формула М. Маклюэна «послание — это посланник». Первичным было не предложение, а тот, кто с ним выступил. Компенсацией политической паранойи выступали неконтролируемые иррациональные поветрия моды, которая с радостью поддавалась различным веяниям вне зависимости, а то и наперекор тому, как это рассматривалось осторожными охранителями «властной вертикали».

4

Две силы — уверенности и сомнения, утверждения и отрицания — всеобщей культуры борются в нас и по сей день. Силы отрицания чрезвычайно разнообразны и могущественны. На их стороне и бесконечное разнообразие «особенного» во всех имеющихся мировых культурах, и неучтенные опасности универсализации, и споры между конкурирующими областями человеческого духа, и неконтролируемое разрастание информационного пространства. Но главное оружие, которое этот, по слову Ницше, «дух тяжести» использует сегодня, это жесточайшая критика культуры с позиций ее принадлежности некоему властному субъекту. Всеобщая, мировая культура объявлена обманом, объявлена проектом некой властной инстанции, которая выступает не чем-то универсально-трансцендентным, но, напротив, объявляется по-прежнему совершенно имманентным, совпадающим по очертаниям с теми или иными государствами, институтами, нарративами. Носителю вроде бы абстрактной мысли о (все)человечности не прощается никуда не девающаяся его/ее конкретность — пол, цвет кожи, гражданство, происхождение, история. Особенно история. История — это царство зла, обесценивающего все наши добрые намерения. Мы объявлены единым и непрерывным историческим субъектом (прямо по Гегелю) с теми, кто до нас творил ужасные вещи. Культура и есть актуальная форма нашего единства с ними. Преодоление времени, пространства, национальности, партийности работает не только на меня. В данном случае оно обращается против меня. Я виноват, потому что я тоже ... (вставьте нужное).

Отрицание культуры носит сегодня тотальный, парализующий характер. Это уже не споры, не сомнения, не релятивизм — мол, все мы с душком. Это посягательство на ее полную отмену — в силу, как считается, исторически доказанной ее «токсичности», замаранности социальным злом. Появляется особая опция — культура отмены (cancel culture), которая плавно перетекает в отмену культуры. Верхние ступеньки лестницы ополчились на нижние. Все, сделанное «несовершенными» предшественниками, критикуется и изобличается как несостоятельное, двудонное, двуличное. Против них обращается каждый социальный и политический компромисс, на который они шли. При этом все заслуги, все прогрессивное в истории изобличители приписывают себе и своим фаворитам — угнетенным меньшинствам и т. п. Происходит попытка не только рейдерского захвата культуры, но и ее «переписывания» на нового владельца. Со злом, хаосом, несправедливостью и разрушением, которые чинит подобное самоуправство, никто не считается. На них можно — и нужно — закрыть глаза. В крайнем случае утверждается, что

восставшие имеют право на любую жестокость, поскольку она ответна — они карают (вчерашних) карателей, угнетают (вчерашних) угнетателей, как у Ж. Верна разъяренный Немо потопил английский корабль⁴. Мы видели это на примере недавних пропалестинских маршей, когда представители культуры отмены и борьбы с «колониализмом» оправдывали террористическое вторжение 7 октября 2023 года в Израиль и сотни жертв тем, что это-де был обоснованный и адекватный ответ на тот «геноцид» палестинского народа, который сам Израиль устраивал десятилетиями. Израиль тут важен не сам по себе — он часть «мирового зла», с которым борются героические террористы и прогрессивные профессора в своих кампусах. Израиль воспринимается как прокси той огромной колониальной империи, империи «белого превосходства», что простерлась над Европой и Америкой, а некогда, в виде колониальных государств, владевшей едва ли не всем миром и притеснявшей всех, кто был сочтен ею людьми второго сорта.

Фактически дискурс борьбы с колониализмом и капитализмом, поддерживаемый «прогрессивными» европейскими мыслителями (вроде С. Жижека), ничем принципиально не отличается от популярной в среде российских радикальных пропагандистов повестки, разоблачающей «происки англосаксов» как главной силы, противостоящей прекрасному и справедливому «русскому миру». Исторически это глубоко родственные явления — нынешний авторитарный ренессанс в России⁵ и левая истерия на Западе. Они суть близнецы-братья, внуки одной и той же марксистской революции, создавшей в России тоталитарное сверхгосударство, а на Западе овладевшей умами всех недовольных демократической системой ценностей, критиков всех ее несовершенств (которых в СССР считали «полезными идиотами», льющими воду на мельницу грядущей победы коммунизма). Некоторым образом, борьба коммунизма и капитализма, которая, как многим (тому же Ф. Фукуяме с его нашумевшей работой «Конец истории») казалось, окончилась распадом СССР и победой последнего, на самом деле продолжается. Правда, с тем же успехом можно сказать, что эта борьба сама была лишь очередным этапом, очередной маской более глубокого, застарелого антагонизма, пролежавшего между условными Востоком и Западом — антагонизма культурного, религиозного, институционального, этой, по выражению С. Хантингтона, войны цивилизаций.

Все это приводит нас к вопросу: а есть ли вообще хоть какая-то справедливость и беспристрастность в нынешних попытках отменить культуру (на Западе)? Есть ли хоть один политически не ангажированный агент в этом процессе? Разве кто-то действительно волнуется о зле, которое кому-то когда-то было причинено или причиняется сегодня? Не

⁴ Что, кстати, чистой воды лицемерие и самоцензура. Изначально Немо замыслился Верном как сын польских аристократов, а не наследник индийских раджей. Это подтверждается замешательством профессора Аронакса, который при первой встрече с Немо не может идентифицировать его национальную принадлежность. Будь Немо индусом, таких проблем попросту не возникло бы. Однако издатель убедил Верна не рисковать потерей «русского рынка», и таким образом Немо, поляк, ненавидевший Российскую империю и топящий русский корабль, превратился под пером Верна (правда, не сразу, а в «Таинственном острове») в индуса, ненавидящего англичан-колонизаторов и топящего английский корабль. Что только доказывает, как легко меняет обличья борьба с «колониализмом», когда оказываются затронуты финансовые соображения.

⁵ Выражающийся, например, в установлении/восстановлении памятников Ивану Грозному, Сталину и прочим правителям, которые, с точки зрения нынешних властей, воплощали идеи «твердой руки», этатизма и т. п. Любая либерализация (и, соответственно, тот, кто ее проводил) в истории России, напротив, рассматривается с недоверием и презрением, всякое выступление против власти (неважно какой, лишь бы сильной) — как отступничество, а то и прямое предательство, «измена Родине».

используется ли оно как аргумент, как средство в борьбе с врагом, определенным давно и на (идеологических) основаниях скрытых от нас? Где кончается подлинный, гуманистический проект современности и начинается партийная борьба? Почему одна сторона этой борьбы обеляется, а другая столь же беспросветно очерняется?

5

Остановимся немного на этом последнем пункте. Он представляется общим местом, достаточно затертым, но на деле непродуманным. Психология и эстетика борьбы достаточно важны сами по себе, не меньше, чем ее концептуальное содержание.

Гераклит (философ, чрезвычайно востребованный в кризисные времена) полагал, что борьба, полемос, является основанием всего, определяющим все процессы мировой жизни [5, с. 155]. Все борется друг с другом — просто потому, что оно разное. Вода не огонь, огонь не вода. Они взаимно аннигилируют друг друга. Но разве мало примеров, когда стихии поддерживают друг друга? Ветер способен распространить сильный пламя. А будь ветер сильнее, он попросту погасил бы его. Все относительно. Борьба, как и сотрудничество, есть лишь момент, диктуемый соотношением сил. Точно так же соотношение, мера, пропорция отделяют лекарство от яда. Соотношение — одно из значений слова *ratio*, которым мы привыкли звать наш разум. Разумное начало в нас состоит в способности увидеть границы, отличить одно соотношение от другого. Мы можем смешать лекарственную смесь, а можем яд. Добро и зло, исцеление и гибель, помощь и вред — в направленности нашей воли.

Наша заикленность на борьбе — следствие той огромной власти, которой обладают над нашим мышлением *метафоры* и *анalogии*. Мы можем сфокусироваться на одной из сторон бытия в ущерб всем прочим и начать преподносить ее как основополагающий принцип мироздания. Мироздание это позволяет. Составляющие его сущности все обладают королевским достоинством, каждую можно вообразить принцепсом. Увлеченные мыслью, разматывающей клубок потенций сущности, мы создаем ту или иную философию (или, говоря хайдеггеровским языком, картину мира). Это может быть философия борьбы. Но с тем же успехом это может быть философия мира, гармонии. Или разумного их различия, или морального выбора между ними.

Таким образом, путь нашей мысли будет чем-то сродни гегелевской диалектике. На первом уровне мы всегда имеем наивный тезис — усмотрение некой сущности и развертка ее до пределов мироздания. Фактически это закон соотношения монады/вселенной, установленный Лейбницем: каждая монада (т. е. атом, из которых состоит вселенная) есть перспектива на всю вселенную, и из нее можно развернуть всю вселенную. На следующем уровне мы выныриваем из области нашей первичной аналогии и в пику ей определяем начало полностью противоположное, но не менее равноправное — антитезис. На третьем уровне мы осознаем, что все эти начала суть лишь моменты бытия, зависящие от соотношения сил и способные быть уловленными нашим мышлением. Меняется характер и самого мышления. От субстанциально-монадического, через парадоксально-полемическое, оно становится *рациональным*, т. е. руководствующимся собственной сущностью — способностью выявлять соотношения, меры. И наконец, высший уровень — это уровень свободной воли, выбора между сущностями. Рациональное мышление не включает в себе этот момент. Вместо него оно несет в себе соблазн прагматизма, за которым угадывается

люциферизм — оно вообразает себя господином добра и зла, точно знающим границы того и другого, способным применять то и другое, как средство, в зависимости от обстоятельств. Всякий властный человек притязает на то, чтобы быть источником и мерилom как добра, так и зла.

Спасти от опасностей подобного выбора может лишь нравственное сознание. И оно же одновременно есть кульминация философии, выводящая подлинного и подлинно властного субъекта. Ни тезис, ни антитезис, ни синтез не ведут меня к самому себе, к источнику моей собственной силы — наоборот, они держат меня в плену, сначала у одной-единственной сущности с ее претензиями и замахами, потом, иронически, у ее противоположности, потом — у их великого уравнилель. Все это время мой взгляд прикован к ним, растворен в них, захвачен их собственными возможностями, которыми они зачаровывают мой разум. Рациональное мышление выставляет элементы бытия как нейтральные; почему бы не пользоваться ими, когда выпадет соответствующий случай? Но только нравственное сознание дает мне абсолютную возможность — сказать «нет» независимо ни от чего. Ницше критиковал мораль как нечто противоположное воле, но разве моральный выбор не есть самая чистая форма волевого самоутверждения? Именно на этом уровне человек получает в распоряжение самого себя. Выясняется, что он тут есть, что он не просто зеркало мира или его сиюминутный оператор, зачарованный пилот в машине, чьи желания, по сути, являются лишь рычагами возможностей, которые эта машина предоставляет в его распоряжение. И суть мышления не в комбинаторике этих возможностей, не в том даже, чтобы оторваться от любимого игрока на поле и дорасти до видения всего поля целиком. А в том, чтобы заметить себя.

Это самообнаружение выражается в выборе, в рассечении мира на безоговорочное «да/нет» вместо жонглирования ими. Индивидуальность дается как негативность — таково было открытие Гегеля. И за этим открытием последовало все то, что в Гегеля уже не укладывалось, — Кьеркегор, Ницше, Витгенштейн. Много говорят о психологии борющегося, о рисках субъекта борьбы. Но делающий выбор поначалу еще не борется сам. Он выбирает сторону борьбы, аспект бытия, и запрещает себе его смену. Его страдания — это страдания зрителя, болельщика. Если победит его команда, победит и он. Если проиграет — соответственно. Философия болельщика мало кем еще рассматривалась. Он тот, кто делает ставку. В этом выражается его участие.

Но разумность не сдается. Она устанавливает новое соотношение, в котором она реализует себя — соотношение между самой собой и моральным выбором. Моральный выбор может привести к ужасной однотонности — к нерассуждающей преданности. Моральный человек склонен забыть о ситуативности выбора, о том, что он призван быть судьей и вынести решение для борющихся, а не принять новый закон на века для всех. Слово «категория» означало, помимо прочего, «приговор»; отсюда «категорично», «категорический». Но приговор не закон. Гераклит, говорящий о борьбе, не говорит о судье, определяющем победу. С его точки зрения, победа объективна, ее определяет (добывает) своим усилием победитель, а все остальные ее просто фиксируют/признают⁶. Но в моральной ситуации, ситуации выбора и риска, ты не победитель, не участник борьбы, а зритель, болельщик или судья. И все решаешь ты.

⁶ О значении фигуры Арбитра-Судьи в метафизике (на примере Гераклита) см. Лебедев [5, с. 71–77].

Мораль, выпавшая из своего момента, обращается в закон. У Гераклита борьба и закон равно пронизывают мироздание. Но закон — это Абсолют. Я делаю выбор и принимаю решение не лечиться в больницах и лекарствами, потому что я верующий человек, и считаю, что мои болезнь и здоровье, жизнь и смерть в руке Божией. Я постановляю это навсегда, без исключений. В романе И. Макьюэна «Закон о детях» (2014) юноша из религиозной семье отказывается от лечения, хотя болезнь угрожает его жизни. Главная героиня, женщина-судья, не идет у него на поводу и выносит постановление о его принудительном лечении. Юноша реализует субъективность как чистую негативность, героическое принятие риска. Судья означает пересмотревшую себя разумность, которая из нейтральности тоже вышла в моральное состояние и тоже делает выбор, но памятуя о том, что это — выбор. Она не законодатель, не парламентарий. Ее власть распространяется лишь на данный конкретный случай. Но этот момент может стать прецедентом для принятия будущего закона. Юноша — это одинокое волеизъявление. Судья — это сострадание и милосердие. Это сочувствие, а моральное сознание невозможно без сочувствия. Без него моралист — фанатик. Выносящий моральное суждение часто не тот, кто **в** ситуации, а тот, кто **рядом**. Он зритель, болельщик, судья. В русском слове «болельщик» заключено «болеть», «болеть за другого, о другом». Это боль за другого. Избирательная рациональность выпуталась из цинизма и люциферизма и снова нашла себя как сдерживающая и направляющая сила нравственности, как необходимый комментарий, примечание. Из борьбы законов и принципов мы переходим в царство прецедентов, в цепочки единовременных решений, с принятием всей тяжести ответственности, от субъектов воли — к субъектам сочувствия.

6

Для понимания сущности критики культуры с моральных позиций необходимо выявить схему, которой руководствуется подобный критикующий, осознает он это или нет.

По большому счету, перед его глазами пребывают три модели общества, которыми он далее жонглирует, выстраивая свою аргументацию. Вкратце эти модели можно описать как «белая культура», «серая культура» и «черная культура». Подобно трем гунам индийской метафизики, сочетание которых создает все сущее, эти три модели определяют весь наш дискурс о конечном существе культуры, в котором она отливается в субъект и подлежит суду и ответственности.

«Белая культура» и «черная культура» — экстремумы на этой шкале. По большому счету, это чисто воображаемые сущности. Они, однако, составляют совершенно необходимый элемент, без которого не работает ни одна моралистическая схема культур-критики. Поскольку культура мыслится нами неотделимой от общества, выступающего ее носителем (мы ведь отвергли всякую универалистскую ее претензию), состояние культуры, очевидно, диктуется состоянием общества-носителя. Итак, «белая культура» — это высшее воображаемое состояние культуры, чистый, идеальный момент. Это культура, принадлежащая обществу, которое *никогда* не совершало *никакого* зла — т. е. несправедливости, жестокости и насилия — ни по отношению к своим собственным членам,

ни по отношению к другим обществам и их представителям⁷. Такая культура будет если не вообще неподсудна, то, по меньшей мере, всегда оправдана на нашем суде над культурой.

Ее противоположность — это «черная культура», т. е. культура, производимая обществом, пребывающим в состоянии хронической несправедливости, принципиально и бесконечно жестоким к себе и другим в самом непосредственном и грубом смысле этого слова. Нетрудно догадаться, что ультимативная форма такого общества — тоталитарное милитаристское государство, провозглашающее (и ведущее) перманентную войну на своих внешних границах, а также устраивающее перманентные репрессии собственного населения. Собственно, это государство, ведущее двойную войну — против собственного народа и против чужих. Ненависть к другим (всем сразу или согласно некоему порядку), официально задекларированная в его идеологии, полная нетерпимость к проявлениям инакомыслия среди собственных подданных будут отличительными чертами подобного государства.

Однако всего этого, как ни странно, еще мало, если мы хотим не просто обличить такое государство, но осудить его культуру и извергнуть ее из стана культур на основании того, что она и не культура вовсе, а не более чем манифестация и очередное орудие духа своего общества. Культура такого общества тоже должна быть соответствующей. Она не может быть нейтральной. В каждом своем измерении она должна представлять такой же грубой и жестокой, как и политика гос-общества (ибо в «черном» государстве власть и общество мыслятся слившимися воедино в негативной воле), в котором она распространена. Это не просто общество «пятиминуток ненависти», как оруэлловская Океания. В Океании вокруг этих самых пятиминуток оставалось еще какое-то относительно свободное пространство и время. Там Уинстон Смит мог позволить себе выпить чашечку чая или пробормотать стишок просто так, не во славу Большого Брата и не уподобляя свои движения и жесты ударам клинка, метящим в сердце врага. В «черном обществе» сапог действительно перманентно топчет чье-то лицо, этому нет никаких перерывов или исключений. Культура в нем пропагандирует самопревозношение и ненависть к другим на регулярной основе, не оставляя своим пользователям никаких лазеек, отдушин, оазисов нейтральности, пусть даже глупых, пустых, недолго-обманных. Не говоря уже о проповеди чего-то позитивного.

Очень легко убедиться в том, что такое общество, такое государство, такая культура — абсурд и чистый миф. Оно не встречается нигде и никогда. Его критериям не соответствует не только страшная, подавляющая Океания, но даже и совершенно реальные тоталитарные государства из нашей истории. Понятно, что в действительности закон «черного триединства» — война (вовне), репрессии (внутри), грубость (выражения) не соблюдается. Война ведется не всегда. Репрессии чередуются передышками и послаблениями, иногда репрессивный аппарат даже можно обмануть, как об этом свидетельствует опыт многих советских граждан даже и в сталинские времена⁸. Культура в тоталитарных обществах часто приобретает не агрессивный, а увеселительный

⁷ Этот простейший критерий — «мир внутри народа, мир между народами» (настоящий мир, а не штыки) — для различения между тоталитарным обществом и демократическим предлагает, например, А. Рэнд [7, с. 51].

⁸ Например, практика заблаговременного отъезда, когда человек, предчувствуя возможность ареста и последующей ссылки, сам переезжает в какие-нибудь отдаленные северные области и устраивается там на работу.

и развлекательный либо сентиментальный характер⁹. Эта неоднозначность связана также и с тем, что ни в одном тоталитарном обществе не удается до конца искоренить инакомыслие, и культура в нем очень часто становится прибежищем для людей, старающихся сохранить в себе и обществе хоть какие-то крупинки человечности. Всякий раз, когда превозносят «доброе советское кино», хочется ответить, что оно было таким не благодаря, а вопреки политике советской власти. Его делали люди, осознанно взявшие на себя роль гуманистических смягчителей жестких углов системы (и потому их фильмы часто зарубались цензурой и клались на полку, а им самим выносился «запрет на профессию»). Насколько такие «припарки» помогают мертвому, это снова вопрос для обвинителя на нашем процессе против культуры, ее слабостей и компромиссов.

Итак, «черная культура», «черное общество» — это гротеск. Никакое общество не покрыто беспросветным мраком по всему своему периметру. Мы видим, что чернота распределяется своего рода пятнами по его пространству-времени. Оно проходит фазы чисток; оно отводит под свои карательные заведения определенные места на своей карте. То, что я говорю, не является оправданием тоталитарных режимов. Это не более чем разбирательство с механизмами нашей аргументации. Без подобного разбирательства конфликт добра и зла никогда не выберется из тупика, в который его загоняют слепота и ограниченность моралистов, кричащих о том, что, дескать, вся страна была одним сплошным концлагерем, и никак не могущих уразуметь, почему в общественном сознании вся их риторика оскорбительно легко бьется реминисценциями о «самом вкусном мороженом». Можно, конечно, сетовать на тупость, зомбированность и вообще «генетическое», запрограммированное рабство народа. Но давайте задумаемся. Ужас тоталитарного прошлого не в насилии, которое оно производило, а в лакунах, где этого насилия по видимости не было. Проблема не в том, что на идиллическом фоне германской субурбии дымили трубы концлагеря. А в том, что и на самой территории концлагеря случались конфеты и киносеансы. В «черных» странах, в «черные» периоды истории тоже светило солнце (на праведных и неправедных), играла музыка, мальчики приглашали девочек на танец и т. п.

И тем не менее, когда мы обрушиваемся на то или иное общество в те или иные его времена, мы изображаем его *беспросветно черным*. Мы постоянно прибегаем к образу «черной культуры», кошмар-культуры, когда ведем свою войну против книг, картин, фильмов, привычек, нарративов, которые подозреваем в причастности к чему-то недопустимому. Зло беспредельно токсично, оно заражает собой все, оно окрашивает собой все. Мы видим, что практически все известные нам прецеденты культурных/контркультурных войн не обходятся без этих воображаемых экстремумов, без идеологических конструкторов. Объявление враждебной культуры/цивилизации «черной», а себя, соответственно, «белой» — самый популярный ход в этой партии. Демонизация Другого и беатификация себя превратились в общее место. Демонизация делает невообразимо шокирующим осознание, что не только у замечательных и высокодуховных

⁹ В этом принципиальная ошибка авторов популярных антиутопий вроде «Бегущего человека», «Голодных игр» или «Бегущего в лабиринте». Моделируя гипотетическое тоталитарное общество будущего, они сплошь и рядом изображают его культуру как беспримесную проекцию его жестокости. Но культура часто используется как отдушина и анестезирующий элемент, т. е. поддельный, подчиненный антитезис духу безжалостной власти. Впрочем, на самом деле такая картина не ошибочна, а проистекает из специфически схематического подхода, который мы и пытаемся разъяснить.

«нас», но и «где-то там» (нет, вы только представьте) люди тоже живут, работают, играют, любят, поют у костра песни под гитару и т. д. И наоборот, собственная страна объявляется безгрешным «белым обществом» — мы никогда не начинали войн, мы всегда приходили с добром к другим, мы всегда руководствовались самыми высшими и святыми ценностями, мы не совершали ошибок, преступлений, грехов, мы самый лучший народ в мире. Понятно, что если с войнами голову задурить еще удастся (все присоединялись к нам исключительно по собственной воле, как мечтал Достоевский, возвращение Константинополя произойдет не силой, а «как бы само собой»), то отрицать репрессии уже труднее. Тогда их игнорируют или оправдывают. Сдирают с домов таблички «последнего адреса», т. е. работают с памятью грубо, открыто ее калеча. Но это пока. Снимают победные фильмы о государственно одобряемых героях — но искренне удивляются, почему народ на них не ходит, а вместо этого валом валит на сказки вроде «Чебурашки» или «Буратино». Культура, даже сейчас, даже подмятая, полуизгнанная, пронизанная подхалимами, все равно сопротивляется «очернению», власти «грубых начал», на которую сетовал еще Гамлет как на знак темных времен. Она отказывается превращаться в кошмар-культуру. Правда, это не аргумент в ее пользу в глазах моралистов, видящих в этих проблесках человечности не знак надежды, а показатель лицемерия и двоемыслия в обществе.

Парадокс в том, что исторической нормой являются «серые культуры». Белых мы вообще не знаем, хотя в разных ситуациях на эту роль претендуют разные общества (в том числе впадающие во мрак, причем ровно по мере своего впадения) или группы, классы, движения внутри этих обществ (например, церковь). Черные — это чистая фантастика, и кстати, о представленности их в фантастическом искусстве мы поговорим чуть позже.

«Серая культура» — это культура, знающая как добро, так и зло. Это культура, совершившая свою долю насилия и несправедливости, но не поставившая это своим принципом и не впавшая во мрак. Это культура признания (пускай медленного и неохотного) своих ошибок и позорных пятен без юродивого самобичевания и позывов к тотальной самоотмене. Это культура, где носители истины не преследуются законодательно, но не являются и одержимыми ниспровергателями. Это культура баланса, избегающая как самопревозношения, так и гегелевской «фурии исчезновения» — безудержной самоненависти, ойкофобии¹⁰. Это, в конечном итоге, культура, признающая, что создана человеком — существом ограниченным, но не ничтожным, ошибающимся, но не безумным, земным, но не приземленным, равно далеким как от ангелов, так и от демонов — но все же посматривающим в сторону ангелов.

Для моралистов норма — это несуществующие «белые культуры». Они ищут в истории святых и ангелов¹¹. Те, кто был в этом поиске неизменно последователен и бескомпромиссен — а значит, ничего не нашел, — довольствуются либо воображаемой сущностью из какого-нибудь иного, «возможного» мира, либо впадают в разочарование, цинизм и нигилизм, как это безжалостно точно постановил Ницше. Да, все мы мечтаем принадлежать к лучшей стае на свете. Вот только эти фантазии дорого нам обходятся — а еще дороже они обходятся тем, кого мы возлагаем на алтарь нашей наивной веры в себя. Искорженная, извращенная любовь живет даже на дне адových ям — но она же их и создает;

¹⁰ Термин, противоположный ксенофобии. Означает ненависть не к чужому, а к своему.

¹¹ Как у Г. Гессе в «Степном волке» романтическая идеалистка именовала свои сомнительные увлечения «ликом святых».

вот и у Данте на вратах ада написано: «я первую любовью сотворен» [1, с. 25]. Мы хотим любить себя и тех, кто нас породил и окружает, это нормально; мы пытаемся быть им благодарны. Так мы приходим к культу стаи, своих, народа, страны, к патриотизму. Сломавшись в этой любви, мы обращаемся в противоположную веру — провозглашаем ненависть ко всему этому. Наши возлюбленные оказались недостойными. Истина, за исключением действительно чудовищных случаев, где-то посередине. Эта середина отмечена Гераклитовым золотом, разменом мирового логоса (истины). Добравшись до нее, наши высказывания обретут вес и ценность, станут валидными.

Труднее всего признать себя «серыми». Фрейд и Юнг ставили целью психоанализа выведение человека из инфантильных фантазий о собственной чистоте и особенностях. Их задачей было подвести его к признанию, что и над ним имеют власть комплексы и состояния, от которых он в повседневной жизни отшатывается, как от какого-нибудь нелепого домысла, или провокации, или гротеска, но которые почему-то держат его на крючке иррационального притяжения, что выражается в абберациях его, скажем, словесного, моторного, сексуального поведения, в воображении и снах. Они открыли центр смысловой гравитации, либо вообще не проявленный в дневном сознании, либо окутанный мистическим туманом. Разоблачение бессознательного — трудная работа, потому что огромное противоусилие сознания направлено на то, чтобы блокировать правду, скрывающуюся там, и заменить ее мифом. Миф позволяет нам действовать, продвигаться, пусть даже в символическом, идеальном ландшафте. Правда парализует, расшатывает идентичность. После нее непонятно, что делать, как быть. Вот почему мы выбираем любое преувеличение, любую ложь, любую радикализацию скорее, чем правду, подвешивающую нас где-то посередине отчетливо видимых смыслов.

Полемизуя о культуре, мы выбираем миф о «белых» и «черных обществах» против правды о «серых». Он позволяет нам продвигаться, расставлять смысловые акценты, набрасывать карту мира. Мы — здесь, а они — там. Мы — хорошие, а они — плохие. Размывание этих четких понятий грозит нам Гамлетовым кошмаром паралича воли. Как мне воевать, если я осознаю, что противник ничем, по большому счету, от меня не отличается? «Серую зону» оставляют ученым для позднейших разбирательств и осторожных расчисток, да и то продолжают за ними приглядывать — как бы чего не расшатали своими открытиями. Потому что на памяти о былых битвах строится нынешняя идентичность. Мы потомки воинов светов, победивших мировое зло. Поэтому не говорите нам, что у нас тоже были концлагеря, да еще какие. Потому что если не было битвы добра со злом, тогда — что было? Схватка двух драконов?

История — это движение, и чтобы продолжать двигаться, нам необходимо верить в точки А и Б, в смысл, в цель, в изменение. Фукуяма был больше прав, чем сейчас представляется его критикам. Конец истории наступает не с победой одного из противников. Победа — это такое топливо, на котором в истории движутся долго, просто строят ввысь. Поражение строит дороги, победа — города. Но сейчас мы ближе к концу истории, потому что мы парализованы. Мы не можем больше двигаться. У нас отняли миф. Граждане СССР пережили это в конце 1980-х — начале 1990-х, когда у них отняли миф о потрясающем, передовом и справедливом обществе, частью которого они якобы были. Сегодня левые на Западе пытаются отнять у доминирующей там культуры ее миф о себе, ее достижения и победы, выставив ее и ее носителей как «черное» явление мировой культуры — как

империализм, колониализм, капитализм, как репрессивную силу, творившую несправедливости и оправдывавшую их. В результате воцаряется растерянность. Противники не желают компромиссов, золотых середин, умеренности. Полемические позиции радикализируются. Огромное число просто нормальных людей, готовых признать за каждой из сторон «момент истины» (по Гегелю), но отказывающих ей в полной победе, оказываются в итоге никем не представленными и, по выражению А. Гениса¹², «политически бездомными».

Есть такое чрезвычайно распространенное мнение, что христианство якобы разомкнуло циклическое (круговое) представление об истории, свойственное язычникам, и превратило историю в нечто линейное, устремленное к некоей цели. Возможно, это и так. Однако подмечающие это упускают из вида другое. Все эти пути, линии, «стрелы тоски по дальнему берегу» — суть проекции мифа, т. е. скорее языческого состояния. Христианство начинается с признания всех людей *грешными*. Все одинаковы; нет больше непорочных, невинных или заранее осужденных непогрешимостью полубогов, за которыми отрадно следовать, потому что их путь-де не ведет в болото. Все идола опрокинуты. И «все» значит «все», без исключения. От Бога не спрячешься ни под каким камнем. Человек ошеломлен жесткостью христианства. Куда идти, за кем? Как быть? К кому примкнуть? Мир весь подлежит суду. Кричащие «культура», «государство», «искусство» — все идолопоклонники. Последним (и единственным) героем остается сам Бог. Он один безгрешен. Христиане сокрушили всех идолов, но затем установили своего — как Кант, согласно Вольтеру, сокрушил все пять доказательств бытия Божия лишь затем, чтобы утвердить шестое, свое. Христианство низвергло идолов, истребило, как Одиссей женихов, претендентов на руку истины, но сохранило сам миф. Потому что и оно полагало необходимым движение, историю. Иисус сказал: «Я есмь Путь». Только в Нем путь мог предстать в своей чистоте, в своей все же необходимой природе. Жизнь, нуждающаяся в мифе, получила в Христе свое высшее оправдание, и высшее оправдание своей нужды.

Неустрашимость героя — последний и непреодолимый соблазн мифа. Рыцарь, убивший дракона, сам становится драконом. Борьба с мифом сама становится мифом. Ницше уловил саму суть атеизма — это не опровержение и искоренение религии, а новая религия, новый миф, создающий нового бога-героя — героя, вырезавшего прежних богов. Психиатрия в своей деконструкции индивидуальных мифов дошла до ставящего под угрозу весь процесс лечения момента «переноса» — когда героем, спасителем-отцом больного, главной воображаемой фигурой в театре его фантазий становится сам психиатр. Теперь на него ложится груз символического. Поэтому многие образованные европейцы увлеклись в свое время буддизмом и в целом т. н. «восточной мудростью». Им показалось, что буддизм лучше справляется с зачисткой сознания от заплывших его фантомов («мира форм»), а главное — эффективнее устраняет фигуру Бога как последнего героя этих фантазий. Будда последовательно человечен. Конечно, индуизм пытался вобрать буддизм обратно в себя, в религию, в миф, изобразить Будду реинкарнацией одного из своих божеств. Психодрамы — это действие без надежды на успех.

Такая же сложная и противоречивая борьба с мифом во имя истины пронизывает и западное мышление. Философия бьется в этих сетях уже больше двух тысяч лет. Идола

¹² Признан в РФ иноагентом.

и мнения невероятно живучи; новая система, притязающая на абсолютную истину, вступает в неизбежную борьбу со своими предшественниками и впускает обратно в только-только прояснившееся сознание всю орду символических агонев. Ницше нашел для этого очень точный образ — Диониса, бога опьянения. Миф опьяняет, развязывает язык, руки, раскрепощает, в общем. Проповедь трезвости на его фоне — скучное дело. Миф неизбежен — но отрезвление необходимо. Как нам не превратить «серую культуру» — да, теперь уже ее, с ее трагическим одиночеством и непривлекательностью в кругу одержимых, с ее героической борьбой за равновесие и справедливость в разрываемом вакхантами на части мире, с ее призывом к ясности и приземленности (а не экстатическим воплем «будьте верными земле!») — как нам не допустить, чтобы она сама превратилась в новый миф?

«Серая культура» мифологизируется — или, как минимум, драматизируется нами — на фоне того тотального отвержения, которым удостаивают ее моралисты и приверженцы крайностей. Для них она уж точно не герой, даже не особый герой, а всего лишь жалкий компромисс, предельная трусость, «ни богу свечка — ни черту кочерга». Она якобы и есть тот самый, кто «ни холоден, ни горяч», а потому ненавистен Богу более чем закоренелый грешник, «ангелов дурная стая, что, не восстав, была и не верна» [1, с. 25]. Морализм заканчивает объятиями со злом, потому что в действительности логика и дух борьбы одолевают его, и он начинает видеть в противнике свое подобие, пускай и опрокинутое. Для духа борьбы ненавистнее всего тот, кто ставит борьбу под сомнение. «Победа! Нам нужна только победа! Кто бежит от битвы, тот трус!» Я хорошо помню, как на моих глазах люди, рассуждавшие о Второй мировой, поддавались соблазну уважения к фашизму. Они ненавидели Гитлера, причинившего столько реального зла нашей земле и народу, намного меньше, чем «ангლოსаксов» (которые в той войне, вообще-то, были нашими союзниками). Но нет, эти господа-товарищи всю рассуждали о том, сколько Гитлер построил для страны автобанов и как Запад фактически обрек Германию на войну. Были они в курсе или нет, они попросту повторяли аргументы самих нацистов, с которыми те пытались защищаться на Нюрнбергском процессе. С похожей настойчивостью нас принуждают любить жертв бездушных белых «колонизаторов», выставляя их в трогательном невинном свете и совершенно игнорируя сложную картину реальной истории колонизации, тотальность зла со всех сторон, триумф самых низменных интересов местных вождей и правителей, которые сами продавали в рабство европейцам своих людей или представителей других племен, которые заключали с пришельцами взаимовыгодные военные союзы и браки, не чураясь сами заводить невольников и обращаясь с ними еще более жестоко.

Выстраивать «белые культуры» и противостоящие им «черные» легче всего в воображении. Там они действительно могут быть собой, т. е. достичь своей подлинной сущности без помех, в чем реальный мир — этот лучший из всех возможных миров, по Лейбницу — им всегда отказывает.

Именно поэтому фантастика, фэнтези, антиутопия сегодня переживают свой поистине звездный час. Пару лет назад я сам был свидетелем того, как в московских книжных магазинах сметают с полок «1984» Дж. Оруэлла. И не только в магазинах, и не только Оруэлла. Периодика, публицистика, аналитика с огромной охотой и неизменной

эффективностью включают в свою мировоззренческую оптику и вокабулярий образы и термины из великих вымышленных историй о борьбе добра и зла, о конфликте свободы и тирании. Все это неудивительно в унылой, вязнущей в цинизме и моральном релятивизме современности, чей главный принцип воплотился в роковой фразе «не все так однозначно». Запрос на героизм огромен — кажется, людям надоело слушать песни постмодернистских сирен о конце больших нарративов. Еще какое-то время назад были популярны разговоры о том, что трикстер (шут, проходимец) оттеснил прямолинейного героя, занял его место. Сегодня все наоборот; например, значительный успех киноадаптации приключенческого аниме One Piece показывает, как его главный герой, изначально нечто вроде трикстера, вдруг изнутри «прорастает героем», оставляет карнавальную стихию, бросает вызов злу и несправедливости. Конечно, тоталитарная пропаганда в любой стране тоже пытается оседлать героического конька и выдавать церберов режима за рыцарей света, отстаивающих истинное добро против мирового зла. Нарратив копируется с большой тщательностью, однако итоги редко вдохновляют. Без принуждения и изоляции «патриотическое» искусство нежизнеспособно. Чиновники могут сколько угодно возмущаться и призывать к очередным запретительным мерам. Точно так же ведут себя главы крупных киностудий на «растленном Западе» — обвиняют самих зрителей в том, что их интерес к кино упал! а не тот банальный факт, что истории про «морально серых», слабых и лукавых персонажей, которые они продолжают плодить с невероятной настойчивостью, никому в упор не нужны.

Что бы сказал на это современный Немо? Вряд ли бы он сегодня удовольствовался узкими рамками национальных обид. Скорее, с его потребностью в глобальном вызове, он с удовольствием признал бы, что повсюду в мире назрела совершенно революционная ситуация. Люди как подлинные агенты нормы оказались в полном одиночестве против власть имущих, использующих все ресурсы, от денег до силы, от развлекательных до образовательных институтов, чтобы навязать подвластному (где-то больше, где-то меньше) им населению свою искаженную и деструктивную картину мира. Люди уходят в интернет (пока еще относительно свободный), ведут свои блоги, открывают собственные сайты, потому что абсолютно все публичные каналы выражения возмущения для них закрыты.

Если бы постмодернисты задумались и сменили пластинку, они увидели бы, что и для них сегодня золотое время — впервые *чистая власть*, вне зависимости от флагов и идеологий, *система*, контролирующая все экономические, политические, технологические ресурсы общества, встала против людей. Это делается под разными знаменами, в разных частях света, и официально головы этой гидры даже делают вид, будто враждуют друг с другом. Но в действительности мы видим, что эти сиамские близнецы по всему миру совершенно неотличимы — они действуют похоже, выглядят похоже, постоянно переговариваются, обмениваются опытом, оказывают поддержку, копируют друг друга. Никогда еще оппозиция «власть/люди» не была так наглядна, никогда еще борьба за свободу людей не велась в ситуации настолько тотального преимущества институтов власти, обративших в свою пользу последние достижения цифровизации, завладевших рупорами практически всех идей и политических течений. По всему земному шару система — *сама* система — дает людям бой. И она совершенно очевидно намерена этот бой выиграть, не в той своей ипостаси, так в другой. «Вы должны вернуться ко мне, и вы вернетесь» — таков ее императив. Всегда будут те, кто правит, и те, кто подчиняется. Мир для адептов системы — не более чем источник ресурсов, природных и человеческих, а еще площадка для

произвола могущественных властных субъектов, для реализации амбиций и самоутверждения. Неважно, в каком именно облике — централизованной авторитарной власти, окруженной штыками и оснащенной супергаджетами, или soft power с ее проповедью инклюзивности — предстает сегодня эта система в том или ином уголке земли огорошенным и растерянным ее натиском людям. Важно, что все это одно и то же — агрессивный агент конфликта и закрепощения, действующий не столько против своих двойников-конкурентов, сколько против людей — носителей здравого смысла и подлинных созидательных ценностей.

Сегодня такому вот растерянному, оцепеневшему человеку проще узнать себя в хоббите Фродо, бросившем вызов всемогущему Саурону, или в отважном Гарри Поттере, противостоящем тирану Вольдеморту, чем в каких-нибудь унылых «морально серых» персонажах. Он сочувствует Уинстону Смиту, безжалостно раздавленному системой, высшее воплощение которой — сапог, вечно топчущий чье-то лицо, а не хитровану, к этой системе приспособившемуся. Великие моральные истории становятся лучшими средствами навигации в бурном пространстве мирового кризиса, чем депрессивные, иронические или цинические нарративы.

Это не значит, что героический нарратив безупречен и обладает неоспоримым превосходством. Мы знаем, что он присваивается и копируется властью точно так же, как и все остальное, под что она мимикрирует и под соусом чего себя продает. Советская власть окружала своих граждан монументами величия, кругом образов героического, сомнение в которых было недопустимо. Крах героических фигур прошлого в большинстве случаев вызвал не прояснение сознания, а хаос социального и морального нигилизма. Пройти через него, к сожалению, необходимо. Совершенно другие чувства вызывает борьба с культурой на Западе. Там героические и величественные образы принадлежат не одной парадигме, не одной-единственной эпохе, связанной с определенными формами власти и идеологии, как в случае с советской культурой. Там они представляют собой культурное накопление, превосходящее исторические парадигмы и, возможно, в свою очередь полагающее их. Проще говоря, Запад рискует гораздо большим, ведя свою войну против культуры. Россия могла, хоть и с превеликим сопутствующим ресентиментом, пожертвовать советским прошлым во имя какого-нибудь другого этапа своей истории. Но у Запада в его тотальном всеотрицании не остается этого самого другого, ибо все эпохи его становления маркируются сегодня как отрицательные, пронизанные едиными культурными стратегиями, будь то «колониализм», «империализм», «мужской шовинизм», «белые привилегии» или что там еще. Более того, признание культуры «серой» означает не ее окончательную характеристику, а знамение ее неминуемой дальнейшей редукции к «черной»¹³. «Черное» не создает баланса с «белым» в «сером», оно наступает и распространяется, покрывая собой все. Единственное пятно на репутации губит всю репутацию безвозвратно.

На что же опереться? Есть ли вообще прецедент «белой культуры» без страха и упрека? Идеология, не испытывая ни малейшего стыда, ставит на это место себя. У современных критиков и отменщиков культуры остаются только они сами и жалкий клочок принадлежащего им исторического времени, который они могут объявить свободным, очищенным от тлетворных миазмов недостойного прошлого. Да и то борьба не

¹³ В духе известной максимы Стругацких «где царит серость, там к власти приходят черные».

прекращается. По мере приближения к заветной цели она, в полном согласии с заветами Сталина, обостряется.

«Белые» культуры также означает «безгрешные», «невинные»; они ассоциируются с подавленными культурами, с традициями меньшинств — просто потому, что те были подавлены или загнаны в культурные гетто. Борцы с культурой не осознают, что они и весь их «лик святых» были фактически созданы той властной парадигмой, которую они ненавидят. Сделав их «подавленными», она спасла их для святости и ореола мученичества и морального авторитета. Чем больше «подавленные» освобождаются и отвоевывают себе право на собственное действие и ни на кого не оглядывающееся бытие, тем больше изобличаются их собственное несовершенство и ошибки. Оттесняя господствующую культуру от властных рычагов и захватывая эти рычаги, подавленная культура делается все меньше отличимой от своей предшественницы и противницы. Она просто превращается в следующего властного субъекта. Она активно использует средства манипуляции и подавления, осуществляя не столько справедливость, сколько возмездие. На наших глазах происходит складывание новой диктатуры — возможно, «мягкой», гибридной, но столь же идеологизированной и пропагандистской. В противоположность одному расизму утверждается другой, одному шовинизму — другой, и т. п. Точно так же в России православная церковь сохраняла привлекательность, лишь пока была гонимой. Власть жестоко проверяет культуры, общества, отдельных людей на их гипотетическую «белизну». Пока что проверку не проходит никто.

8

Только в застывшем, кристаллизованном мире мифа принципы способны сохранить свою радикальную обособленность и несводимость друг к другу. Но и миф способен к сложности, он тоже может подарить нам полный спектр культур — когда мы откажемся прописывать себя в нем, отождествлять себя с «добром» или «злом» в нем. Миф способен быть аналитичным. Тогда, вместо того, чтобы быть орудием идеологии, он становится рассказом о самом себе, обретает автореферентность и рефлексивность. Этот миф, почти обретший самосознание, не стоит, однако, путать с постмодернистским ироническим нарративом, разоблачающим самое себя и затевающим причудливую игру с сознанием реципиента и «внешним» миром, заключающим миф в себе.

Современные мифы, не служащие той или иной идеологии, — это свободные, чистые мифы. В то же время это умные мифы — они не просто воспроизводят образцы мифов прошлого, они рефлектируют их, вставая в критическое, но не деструктивное отношение к ним. Перефразируя Толкина, уподоблявшего творчество таких мифов (мифопею) созданию «вторичных» миров, добавим от себя: вторичных не относительно «реального» мира, но относительно «первичного» образца мифа. В первую очередь, современный миф рационален и реалистичен — он убирает из фокуса такие отличительные черты мифа аутентичного, как гротескность, жестокость. Также он морален и гуманистичен. Он выстроен в виде повествования, знающего о своей сказочности и обзирающего с высот своей фантазии не-сказочный мир, лежащий за его пределами. Напряжение между сказочным и не-сказочным задает современный мифологический нарратив. У Толкина речь идет о конце магической эпохи и заре «эпохи людей», в которой мы с легкостью узнаем знакомое нам мироустройство

и его конвенции. У Дж. Роулинг мир волшебников граничит с миром обычных людей не только в реальном времени, но даже и в пространстве. Границы времени у Толкина, границы пространства у Роулинг отвечают за бесконечную трансгрессию и диалектическую трансценденцию героев, обосновывая, таким образом, их моральность. Один мир выступает антитезисом другого, обеспечивая сохранение свободы, не сводимой ни к одному из принципов. Волшебный мир становится залогом свободы для одаренных детей от «свинцовых мерзостей» реального мира с его диктатом «грубых начал» (чудовищные опекуны Гарри, сиротский приют, в которой вырос Том Реддл, будущий Вольдеморт). В то же время отношение это не фиксированное раз и навсегда. Волшебный мир тоже не идеален. И тогда, неожиданно, прибежищем от его темных сторон становится милосердие, пронизывающее оба мира и превосходящее их. Гарри становится подлинно свободным не тогда, когда он сбегает из угрюмого реального мира в волшебный, где обретает предназначение, друзей, любовь, радость жизни и т. п. А когда он преодолевает ограничения обоих миров через мудрость и смирение, дарованные ему Дамблдором. Герой должен принять оба мира, которым он равно принадлежит. Он оберегает и защищает не только волшебный мир от реального, но и реальный от волшебного, когда в том есть нужда. В результате он пограничное, или даже сверх-граничное, вне-граничное существо, устремленное к Абсолюту. Его ключом к мудрости становится понимание взаимообусловленности этих миров, необходимости их знания друг о друге.

У Толкина герои тоже постоянно встречаются с волшебством. Сами будучи для нас волшебными, сказочными, несбыточными, они выступают неожиданно нашими агентами, проводниками, посредниками к этим мирам. Они отражают наши чувства, нашу нужду, нашу тоску. И в то же время они не просто наши собратья по реальному миру, как Гарри Поттер, получивший вдруг билет в волшебную страну. Толкин показывает нам не романтическую дихотомию (которая ведет к депрессивно-репрессивной игре нехватки и удовлетворения, по Ж. Делёзу), а нечто более сложное. Он строит целую пирамиду реальностей, подобную символической карте воображаемого. Мы не можем сразу окунуться в эльфов, в магию, в чудо — разрушительность такого резкого шага Толкин демонстрирует в своем великом стихотворении «Колокол моря». Чистый перенос вызовет перегрузку и страшную боль в душе, актуализирует разрыв между мирами вместо того, чтобы преодолеть его. Мы идем к вымыслу постепенно, через развитие фантазии, памяти, исторического чувства. Нашими посредниками становятся столь же утраченные и нереальные теперь для нас (т. е. сами переместившиеся в область мифа) предки и существа, побывавшие рядом с волшебством. Поэтому для Толкина одним из путей к его миру стал метод исторической реконструкции, заполнения белых пятен и разгадывания лингвистических загадок. Толкин окружен амулетами, оберегами, талисманами — словами языка, навязчивыми образами детства, интригующими подробностями старинных преданий. Все они — его двери, его проводники. Толкин подобен Прусту, ткущему свой гобелен из реального и воображаемого, субъективного и объективного, ищущему путь к запредельной интимности многожды приоткрывавшегося ему смысла бытия. Цель Толкина — приблизиться к сияющему свету мифа и центру мира, высшему волшебству, для которого он позже найдет имя — Негасимый Пламень. Для его героев встреча с высшим волшебством происходит через физические странствия и проговаривания собственных легенд, темные или светлые образы, «практику» и «феноменологию».

В центре магического гобелена Толкина располагаются эльфы — подлинно волшебный народ. Они — солнце толкиновского мира, подобное «сердцу света» у Т. Элиота. Но этот свет не напрямую противостоит мраку. Между ним и мраком — необозримые пространства сумрака. Толкин, что бы ни говорили его критики, не черно-белый автор. Он делит свой мир на три четкие зоны. Так это изображено во «Властелине колец».

Фродо взглянул и увидел в отдалении еще один холм со многими... деревьями? зелеными башнями? — он не знал, зато ощутил исходящие оттуда силу и свет, под чьей защитой и опекой лежал весь этот край. Его потянуло туда, и он впервые позавидовал птичьей доле. Тогда он взглянул на восток — и перед ним предстали земли Лориена до самого лучистого блеска Великого Андуина. Он послал взгляд дальше и... выпал в обычный мир, знакомый, пустой, плоский, какой-то бесформенный, а еще дальше вставала темная и страшная стена. Солнце, осиявшее Лотлориен, словно утрачивало там силу, и ни единый луч не озарял мрака на далеком горизонте.

— Там Дол Гулдуур, — коротко сказал Хэлдир. — Там только черные ели, там деревья насмерть борются друг с другом, а на земле гниют и сохнут их ветви. Там скрывался Враг, но теперь там другие хозяева, и сила мрачной крепости растет. В последнее время на ней часто лежит черное облако. Сейчас ты можешь видеть разом две противоборствующие силы. До сих пор в борьбе скрещивались мысли, и свет постиг самое сердце тьмы, не раскрыв ни одной из собственных тайн. Пока не раскрыв.

[8, с. 376]

Те, кто говорит, что мир Толкина черно-белый, сами не подозревают, насколько они близки к истине. Только они забывают упомянуть серое как ничью землю между черным и белым. Подобное простое разграничение вовсе не умаляет Толкина. Его отличие от критиков не в том, что он черно-белый, а они яркие и цветные. В данном случае «черный» и «белый» — суть принципы, регулятивные идеи. Их невозможно избежать. Большинство отринувших Толкина получило в свое распоряжение не яркий и цветной, а всего лишь серый мир, где, может быть, и нет беспросветного мрака, но нет и лучезарного света. Более того, серое, ставшее единственной реальностью, подается ими как лишенное собственного лимбического драматизма, выставляется как данность, да еще и с некоторым идеологическим бахвальством. Серое, однако, свидетельствует о черном и белом как своих источниках. Серое — это сама душа человека, в которой, по свидетельству Толкина, добро и зло могут быть смешаны, но это вовсе не значит, что они смешаны сами по себе.

Мир «Властелина колец» состоит из трех этих измерений. Приведенный нами фрагмент показывает это с кристальной ясностью. Между областями света и мрака, которые выглядят противоборствующими экстремумами, лежит промежуточная область — знакомый нам мир. Он выглядит серым, плоским, бесформенным, и этот фрагмент явно перекликается с библейской историей творения, согласно которой земля вначале была «безвидна и пуста, и тьма над бездной». Но Толкин разводит «безвидность и пустоту», с одной стороны, и «тьму над бездной», с другой. «Безвидность и пустота» — спутники серого, в то время как «тьма над бездной» прикреплена к черному.

С точки зрения культур, все сложнее. Онтологически эльфийские земли — единственное воплощение света (известное героям), а все остальное, соответственно, принадлежит серому или черному. Но светлое не тождественно белому, хотя часто сближается с ним. С позиции толкиновской онтологии света хоббиты — такие же

населенники серого мира, как люди. Но вот с позиции толкиновской *культурологии* культура хоббитов единственная из всех смертных принадлежит, наряду с бессмертной эльфийской, к категории белого. Хоббиты в их истории описываются автором как народ мирный и добродушный, расселявшийся по Средиземью без войн и жестокости. Хоббиты, отчасти в силу своей чисто физической малости, никогда никого не притесняли и не тиранили, не отбирали ни у кого ни земель, ни добра, ни свободы. Точно так же они (до осквернения Шира Саруманом) никогда не допускали внутреннего экстремизма, т. е. подавления одной частью своего сообщества другой. Хоббиты не знали чисток, репрессий, классовой борьбы, гражданских войн, кланового соперничества и т. п. Преступления, не говоря уж об убийствах, были для них невероятной редкостью, и Толкин вообще не упоминает ничего подобного. Политикой хоббиты тоже особо не интересовались и не занимались, та немногая власть, которая у них была, носила выборный, демократический характер. При этом обществу хоббитов было знакомо имущественное разделение, проще говоря, у них были богатые и бедные, работники и работодатели. Основу их социального уклада представляли состоятельные землевладельцы, жившие крупными семьями (родами), однако все они, за незначительным исключением, сами работали на своей земле и вели хозяйство. Толкин редко упоминает слово «деньги» и еще реже конкретизирует эти самые деньги; складывается впечатление, что натуральный продукт для него важнее монетарных отношений. Прологом к осквернению Шира и становится, собственно, бесконтрольное разрастание капитализма (в лице Лотто, непонятно на какие средства скупившего чуть ли не весь Шир), которое, через стадию монополизма, приходит неизбежно к диктатуре и насилию. Однако, повторим, осквернение Шира — достаточно поздний эпизод, да и происходит оно под прямым влиянием падшего мага Сарумана, т. е. речь идет о чем-то, натуре хоббитов не свойственном и в естественное развитие их культуры не заложенном. Что и позволяет нам судить о них как о примере «белой» культуры. Хоббиты практически не участвовали в войнах Средиземья, за исключением тех случаев, когда они обороняли собственную страну от орков или оказывали посильную помощь своему бывшему сюзерену, королю Арнора, в борьбе со злодейским Ангмаром. Все это делает хоббитов образцовыми представителями «белой культуры», при этом избегающей эльфийской утонченности и возвышенности. Хоббиты приземлены и прямодушны, они предпочитают простые удовольствия и сочную крепкую речь, полную эмпирической конкретики.

Эльфы — очевидные носители света во «Властелине колец» (и, соответственно, представители наивысшей из возможных белых культур). В отличие от «Сильмариллиона» (при жизни автора не опубликованного), эльфы «Властелина колец» не являются прямыми акторами истории, а значит, не принимают на себя рисков, ошибок и неизбежных грехов самоосуществления (как это случалось с их предками). Они обитают в своего рода вневременных лакунах (зачарованных волшебных царствах), и относительно действующих персонажей выступают исключительно в роли защитников, помощников и советчиков. Собственного исторического измерения у них нет. Некоторым образом, их история закончилась, и они сами это подчеркивают. Они покидают Средиземье, послушные зову богов, собирающих их обратно в благословенный край, откуда они однажды вышли. Но и пока эльфы остаются в Средиземье, они подчеркнуто надмирны — обычные тяготы брэнного мира, необходимость его освоения и борьбы за существование, которые, как правило, и составляют содержание истории того или иного вида, им чужды. Эльфы живут

возвышенным, они — самая его суть. Хоббит Бильбо, попавший в одно их царств — Ривенделл, замечает, что эльфы, кажется, способны питаться одними только беседами, чтением стихов и пением песен — «для них они важнее еды» [8, с. 255]. Однако к этому возвышенному добавляется особая благодать, дарующая им силу не только против «серости» обыденного мира, но и против «черноты» зла. Они — хранители истинного знания, верные заветам богов. От одного звука их пения в ночном лесу черные всадники, посланцы темного властелина Саурана, обращаются в бегство. Менее всего эльфы — снобы и эстеты, за которыми больше ничего не стоит. Они, хотя все еще плотские, но по сути, ангелические существа. Точно так же их доброта — знак не мягкости и не слабости, да и красота их — не исключительно чувственный феномен (хотя она вполне физически наглядна). Они глубоко мудры, т. е. видят мир во всей его сложности (и в этом смысле нет ничего более далекого от утверждения, будто Толкин — одномерный моралист, неспособный-де осознать, что жизнь — то непростая штука). Общение с эльфами способно поставить в тупик более прямолинейные и простые народы, как это видно в разговоре Фродо и Гилдора, в споре Элронда и Гимли о прощальных напутствиях, в пикировке Сэма и Галадриэль о магии. Их кругозор не ограничен, и в них нет вспыльчивости, этого верного признака примитивности. При этом их пребывание на стороне добра несомненно, а действия всегда моральны. Но главное — они живут в мире с собой и между собой, никого не притесняют и не ущемляют вокруг (пускай у них и не самые простые отношения с гномами). Их поведение благородно, а манеры, что называется, абсолютны, т. е. лишены малейшего зазора между деятелем и действием, между действием и благом, на которое оно нацелено, — зазора, дающего основания для комизма, скептицизма или неловкости. При этом эльфы не одинаковы — на взгляд Сэма, они довольно четко делятся на более «непосредственных» и более «возвышенных» [8, с. 242]. Также различны их народы и царства, оделенные благодатью и волшебством не в равной мере. Но как бы эльфы ни выглядели, как бы они ни вели себя, в них нет зла, и нет его питательной почвы — расстыковки с собой, другими и миром, изначальной, онтологической рассогласованности и неопределенности. Потому и описание Толкином Ривенделла в «Хоббите», предшественнике «Властелина колец», сводится к одной фразе: «Злу не было места в долине» [с. 64]. Та же завершенность, отсутствие онтологических зазоров (каталогом которых завершаются «Полые люди» Т. Элиота, описывающие горестный человеческий удел в мире пустоты и смерти) определяют и совершенство Лотлориена — другого эльфийского владения, или полумира.

Фродо так и остался стоять, пораженный здешней красотой в самое сердце. Он словно шагнул через окно в несуществующий мир, в котором свет и краски оказались неузнаваемо яркими, формы — четкими и гармоничными, словно их сначала задумал, а потом осуществил и закрепил навсегда гениальный ваятель. Золотой и белый, синий и зеленый — других цветов не замечали глаза хоббита, но зато какой первозданной свежестью дарили они зрение. Зимой никто не стал бы здесь толковать о весне или лете. Все, все вокруг казалось совершенным и безупречным. Да оно и было таковым.

[8, с. 375]

За эстетическим совершенством угадывается иное. Понятно, почему по сравнению с Лориеном весь внележащий мир кажется серым, бесформенным, пустым. Людям очень

часто мерещится, будто вечность и неизменность — это «скучно», но это лишь оттого, что они понятия на самом деле не имеют о том, что это такое. Наши представления во многом диктуются не нашими знаниями или воображением, а нашими способностями. Мы *не способны* на подлинную вечность — в лучшем случае, у нас получится мертвое, забальзамированное нечто, в котором все живые соки иссякли, а от совершенства формы осталось лишь фиксированное в физических границах подобие. Поэтому, всякий раз сталкиваясь с употреблением понятий вроде «вечности», мы мгновенно визуализируем нечто подобное — и с отвращением морщимся. Вообще-то отвращение это адресовано лишь нам самим и нашей ограниченности, оно, по сути, зеркально.

Потому философы всех времен и почитали так интуицию, выделяя ее в особый род познания. Интуиция стоит рядом с откровением, но в начале этого ряда — все же воображение, вотчина художника. Вечность относится к истинам, даруемым интуитивно и за пределами зеркальных само-проекций. Хотя немножечко соприкоснувшись с ней (для начала как художник, не говоря уже как мыслитель или как пророк) никогда больше не повторит: «Вечный покой сердце вряд ли обрадует, вечный покой для седых пирамид», или еще какую-нибудь романтическую благопошлость в том же духе. Вечность — не застывшее навсегда саргассово море бытия, которое во всем осталось собой, просто каким-то образом попало под власть невообразимого заклатья, все в нем обездвижившего. Это фантазия, и не то чтобы из лучших. Вечность, как справедливо показывает Толкин, угадывается в *совершенстве*. Самые разные человеческие культуры мнили красоту окном в какой-то другой мир, или состояние мира, или состояние сознания¹⁴. Созерцание красоты и совершенства переводит сознание в принципиально другой регистр, где все наши попытки определить его будут возвращаться к нам самим и больно бить нас своей (т. е. нашей же) глупостью как «не то». Останется лишь вслед за тем же Элиотом повторять:

Но после, когда мы покинули Сад Гиацинта,
Ты в цветах и в росе, я же
Нем был, и очи погасли мои,
Ни жив ни мертв, ничего я не знал,

¹⁴ В контексте античной культуры этот феномен хорошо описывает Л. Черняк — правда, для него он нерасторжимо связан с эросом, с темой влечения, которое вызывает зрелище приоткрывшейся, просиявшей вдруг иномирной красоты. «В греческой философской лирике только усиливается этот мотив красоты любимой (любимого) как чистого небесного сияния, теперь уже представленного не только как объект некоторого созерцания, но как само любовное созерцание, небесное сияние как созерцание и созерцание как небесное сияние, сама красота как безмятежное вневременное божественное *созерцание*, которое и есть сияние вечности, красота как сияющая вневременность, вечность, каковая вневременность-вечность и есть созерцание. И отношение к этой красоте-созерцанию само есть то же самое состояние чистого созерцания-сияния. Само *обожание* любимой (любимого), сам *эрос*, и есть это *вневременное* состояние созерцательной приобщенности к вечному, бессмертному. Здесь любовь (*эрос*) как *обожание* предмета любви явно раскрывается как *обожение*» [13, с. 179]. Элиот, мне кажется, ближе к истине: он честно, «феноменологически» даже описывает откровение как потрясение и оцепенение, а не пробуждение некоего, пусть очень сложного и утонченного желания, вроде романтического томления, *Sehnsucht*. В романе А. Мердок «Черный принц» (1973) главный герой, осознав, что влюбился, испытывает нечто наподобие паралича и просветления одновременно; он ложится на коврик перед камином и так проводит целые сутки. Желание приходит после, как если бы организм, пытаясь справиться с постигшим его потрясением, оказывается, придя немного в себя, занят его интерпретацией и переводом в какой-то иной регистр, делающий возможным (и более того, оправданным) то или иное осмысление, действие, отношение. Но по сути, это уже какая-то позднейшая *герменевтика*, да еще и неизбежно ведущая к падению и трагедии.

Глядел в сердце света — молчанье.

[15, с. 111]

То же самое молчанье оставлял на долю несказанного Витгенштейн. Толкиновские эльфы, хоть и живут в мире, но по сути они уже часть вечности, отблеск ее запредельности, «виденье по ту сторону реки времени».

9

Итак, хоббиты и эльфы представляют собой два примера «белой культуры» у Толкина. При этом между ними может не быть практически ничего общего. Хоббиты — «здешние», эльфы — «нездешние». Культура хоббитов приземленная, культура эльфов возвышенная. Эльфы владеют истиной, хоббиты имеют о мире весьма ограниченное представление (и весьма тем довольны). Но они совпадают в исторической практике, хотя бы к этому условно общему результату их и привели совершенно разные исходные данные и послы. Культуры хоббитов и эльфов безупречны этически — согласно приведенной выше тройной характеристике. Конечно, их все равно есть в чем упрекнуть — Толкин был очень далек от выведения в своих книгах идеальных, совсем уж безгрешных существ, в одном из писем он прямо перечисляет недостатки придуманных им народов; «белое и черное» (sic!), замечает там он, «в моих персонажах перемешано» [9, с. 248]. Но все же магистральные линии, черты, остаются неизменными. Это не только какие-то их свойства и предрасположенности, но и поведение, и выбор, который они делают. Эльфы не завоевывают другие народы и не практикуют в собственной среде тиранию (правда, как правило, эльфийские общества строго монархичны), они не ведут себя грубо и надменно (напомню, речь идет о «Властелине колец»). Однако они замкнуты, бдительно берегут границы своих владений и редко вмешиваются в дела других народов, что дает тем повод укорять их в равнодушии, невмешательстве и нарциссизме. Эльфы объясняют такую свою позицию разными причинами, в том числе (и, наверное, в первую очередь) своим принципиальным отличием от других — смертных — рас, иными отношениями с миром, временем и жизнью. Не только Фродо видит эльфов стоящими на другом берегу реки времени. Очевидно, эльфы и сами видят смертных иначе, чем друг друга, для них погружение в заботы онтологически иначе устроенных существ затруднительно, приходится проникать сумрак, которым те окутаны¹⁵. И тем не менее, как подчеркивает Арагорн, восприятие добра и зла в Золотом Лесу (Лориене) такое же, как и в землях людей [8, с. 457]. Эльфийская культура может казаться людям чудной (хоть и дивной), но можно точно быть уверенным, что в эльфийских царствах ты не встретишь мордорских реалий.

¹⁵ На что дает намек использование Кольца Всевластья. Для надевшего Кольцо мир погружается в размытый сумрак. И это не только наваждение Саурана. Ведь Саурон, чтобы выковать Кольцо, много секретов вызнал от эльфов. И потом, как мы уже видели выше, тот, кто вошел в эльфийское царство, начинает видеть внешний мир серым и тусклым. Возможно, Саурон усилил в своем Кольце этот эффект разрыва миров, но в целом это нечто, присущее и мировоззрению эльфов. Эльфы, как в большей степени духовные существа, могут особенно остро переживать усугубляющийся со временем разрыв между идеальным измерением мира (в которое они вхожи, как души у Платона в мир эйдосов, истинных сущностей) и его грубой «материальной» оболочкой. Этот разрыв берет свое начало в Искажении Арды, устроенном падшим духом Мелькором — Сатаной толкиновского мира.

В отличие от хоббитов и эльфов, культуры двух других «хороших» рас Средиземья — людей и гномов — имеют скорее «серый» характер. За гномами еще с «Сильмариллиона» тянется шлейф сложных отношений с эльфами, вплоть до предательства и войны. Также гномы склонны к алчности, упрямы, вспыльчивы, горды. Их культура для Толкина не столь однозначно пронизана сиянием, в большей степени она исполнена хтоническим духом — богатств и тайн недр земли, причудливых пещер и лабиринтов. Это культура камня, металла и огня, строительства и усилия. Создатель гномов — Ауле, бог-кузнец, ваятель континентов. Гномы чтут его, и в этом заключен их парадоксальный монотеизм — они поклоняются одному богу, но сам по себе этот бог — лишь один из пантеона богов Средиземья.

Люди — культура даже более «серая», чем гномы. Это касается не только далеких народов юга и востока, но и двух главных положительных народов запада Средиземья — Гондора и Рохана. Истории этих стран не чужды завоеваний и внутренних распрей, они знали разные времена и разных (в том числе жестоких и несправедливых) владык. Их страницы полны не исключительно светлых и славных дел. Предки гондорцев — нуменорцы — вообще прошли весь путь от изначально «белой культуры» (близкой к эльфам) до «черной культуры» заката Нуменора, когда они подпали под влияние Саурана и восстали против богов. Нетрудно увидеть в поведении «черных» нуменорцев полный спектр описанных нами признаков — внешняя политика делается милитаристской и завоевательной, внутренняя состоит в укреплении тирании и гонениях на инакомыслящих. Меняются также и манеры нуменорцев — от благородства и учтивости они переходят к высокомерию и презрению, имперской повелительности, грубости и нетерпимости¹⁶. Лучше всего это изображено в сцене у Черных Врат, когда вожди Запада встречаются с посланцем Саурана, происходящим как раз из рода «черных» нуменорцев.

В этот миг раздался рокот барабанов, оглушительно взревели трубы. Средние створы Ворот распахнулись и выпустили посольство Черной Крепости.

Впереди выступал черный конь (да конь ли, в самом деле?), огромный и страшный, с мордой, походившей скорее на оскаленный череп, еще и огнедышащий в придачу. Под стать коню был и всадник, с головы до ног одетый в черное. Но это был не Призрак Кольца, а вполне живой человек. Давний Наместник Барад Дура забыл даже свое имя и сам себя называл Голосом Саурана. Рассказывали, что родом он был из Нуменора, из тех Людей, что возлюбили темное знание и добровольно подчинились Саурану. Жестокостью он превосходил любого орка.

Его сопровождал небольшой отряд воинов под черным знаменем с изображением Багрового Ока. Не доезжая нескольких шагов до всадников, предводитель остановился, окинул их презрительным взглядом и рассмеялся.

— Ну, кто тут из вас достаточно знатен, чтобы говорить со мной? — спросил он. — Или хотя бы достаточно умен, чтобы понять меня? Уж не ты, конечно! — насмешливо кивнул он на Арагорна. — Чтобы стать настоящим вождем, мало куса эльфийского стекла, а такой сброд вместо войска способен набрать любой бродяга!

Арагорн не сказал ни слова, но поймал его взгляд и некоторое время удерживал. Прошла минута, Арагорн не шевельнулся и не притронулся к оружию, но посланец Мордора вдруг вскрикнул и отшатнулся, словно от удара.

— Я глашатай и посол, на меня нельзя нападать! — закричал он.

¹⁶ Как это напоминает хамскую риторику, к которой раньше или позже скатываются все тоталитарные режимы, чьи пропагандисты с упоением поливают грязью врагов, «наймитов» и т. п.!

— Там, где этот закон соблюдается, — медленно проговорил Гэндальф, — послы не ведут себя так нагло. Но никто не угрожает тебе. Делай свое дело и не бойся нас. Однако если твой господин не стал умнее, то тебе, как и всем его рабам, грозит большая опасность.

[8, с. 882]

Нуменор заплатил за свое падение гибелью всей своей некогда величественной державы. Спаслись только Верные — те немногочисленные нуменорцы, что не поддались на соблазны зла и сохранили верность высоким идеалам Запада. На родине их нещадно преследовали как отступников и предателей (хотя, по сути, в отступничество впал весь остальной Нуменор). Однако именно Верным было дано пережить потоп, поглотивший Нуменор, добраться до Средиземья и основать там новые царства — Арнор и Гондор, — в которых они попытались восстановить хотя бы часть тех совершенств и благодати, которыми некогда была одарена их раса. К сожалению, это удалось лишь частично — Арнор пал вследствие междоусобицы, да и Гондор, просуществовавший три тысячи лет, страдал не только от внешних нашествий и болезней, но и от внутренних пороков.

Роханцы, союзники Гондора, происходили из свободолюбивых племен северо-востока Средиземья. Их культура куда моложе и проще, однако они были устремлены к тем же идеалам, что и гондорцы. Впрочем, и на их совести имеются пятна. Гхан-бури-Гхан, вождь лесного народа (древней местной культуры, деградировавшей до дикарского состояния, чьи земли заняли роханцы), в разговоре с Теоденом, королем Рохана, просит того, чтобы его люди «больше не травили лесной народ, как зверей» [8, с. 826] — что, конечно, не слишком хорошо говорит о роханцах. Но это, в общем, единичный эпизод.

Люди юго-востока Средиземья издавна служат Саурону, и потому их культура неудержимо дрейфует к «черной». Но это не значит, что за ними нет никаких достоинств или «смягчающих обстоятельств». Сэм, глядя на павшего южанина, сраженного гондорцами, задумывается, «как зовут этого человека, откуда он родом, был ли он на самом деле злым и жестоким, и какими угрозами или какой ложью его завлекли умирать так далеко от дома, и не лучше ли было ему прийти сюда с миром» [8, с. 657]. Сэм признает онтологический зазор между человеком и его реализацией в мире — зазор, отражающий неустранимую свободу воли. Южанин, даже и служивший злу, не слился с ним. И помимо анализа его поступков, это выражается в первую очередь в восприятии его. Если бы он слился со злом, у Сэма в голове даже не возникло бы этих его вопросов. А так он признает, что этот человек не был изначально монстром, что его могли (и скорее всего, так и было) «ложью или угрозами» заставить отправиться в этот завоевательный поход. Впрочем, Толкин не склонен, в отличие от многих современных авторов, любящих моральную неопределенность, обольщаться по поводу автономности человеческой воли. Свобода воли работает не только на оправдание человека, но и на окончательную гибель его. То, что человеческая воля никогда до конца не подчинена злу безусловно, не означает, что она, по своему собственному решению, не пребудет со злом до конца. В последней битве у Черных Врат, когда орки, лишившись чар Саурана, бежали или безумствовали, «иначе вели себя харадримы, вастаки и южане. Они так давно подпали под власть Тьмы, так пропитались черной злобой и так ненавидели все то, что олицетворяли силы Запада, что теперь даже крушение их Властелина не сломило этих гордых и сильных воинов. Многие все же бежали, но часть сумела организовать отчаянную оборону. Впрочем, и они были обречены» [8,

с. 942]. Можно стать сознательным адептом тьмы, делать все каждый раз через посредство разума. Такие люди сохраняют, казалось бы, чисто человеческие достоинства, вроде гордости и силы. Но это не делает им чести. Только недалекий человек захочет любоваться ими, жалеть их, приводить в тот или иной пример.

И это подводит нас вплотную к «черной культуре», к тому, что она такое в описании Толкина. Это, конечно же, орки и Мордор.

10

Эти слова стали нарицательными не случайно. Орки — не просто варвары или преступники. Они — самые настоящие чудовища, пехота зла. На протяжении долгих тысячелетий истории Средиземья эти уродливые, искаженные, злобные твари служили исключительно целям агрессивных войн, которые темные властители (сначала Моргот, потом Саурон) неустанно вели против эльфов, людей, гномов, всех вообще *свободных народов*, т. е. «белых» и «серых» культур. Орки оставляют по себе только смерть и разрушение. В них нет ни капли добра и света. Невозможно в принципе найти народ или человека (внутри толкиновского мира), который бы хоть в какой-то степени сочувствовал им или оправдывал бы их. Они вызывают страх, отвращение, ненависть и известны только своими злыми делами.

Орки не только преследуют и убивают разумных существ, но и разрушают и оскверняют природный порядок. Энты, пастыри деревьев, т. е. защитники лесов, называют их народом «дурным» и «злым». Их способ говорить об орках, передавая их сущность, немного напоминает хайдеггеровские сложносочиненные конструкции:

Было великое нашествие этих — барарум! — этих злобно-глядящих-черноруких-кривоногих-жестокосердных-загребущих-смердящих кровопийц, моримайте-синкахонда — хуум! — ну, вы-то — торопливый народ, а их полное имя длинно, как годы мучений, в общем, этих тварей — орков.

[8, с. 974]

«Индустриализация» Ортханка и вырубание лесов вокруг него, страшные пустоши разоренного Мордора, «оскверненная земля, которая никогда не залечит свои раны» [8, с. 630], опоганивание Ши́ра — всегда дело рук орков или существ, производных от них. Невозможно представить себе «мирного» орка, орка, занимающегося созидательной деятельностью, орка сеющего и пахущего — разве что в качестве промежуточного хода к чему-то плохому. В «Хоббите» способностям и «экзистенциалам» гоблинов (другое имя для орков) дана пространная и исчерпывающая характеристика:

Гоблины, надо сказать, жестокие, злобные и скверные существа. Они не умеют делать красивых вещей, но зато отлично делают все злодейское. Они не хуже гномов, исключая наиболее искусных, умеют рыть туннели и разрабатывать рудники, когда захотят, но сами они всегда грязные и неопрятные. Молоты, топоры, мечи, кинжалы, мотыги, клещи и орудия пытки — все это они прекрасно делают сами или заставляют делать других; Другие — это пленники, рабы, которые работают на них, пока не умрут от недостатка воздуха и света. Не исключено, что именно гоблины изобрели некоторые машины, которые доставляют неприятности человечеству, особенно те, которые предназначаются для уничтожения большого числа людей за один раз. Механизмы, моторы и взрывы

всегда занимали и восхищали гоблинов. Однако в те времена, о которых мы рассказываем, и в той дикой местности гоблины еще не доросли до такой стадии цивилизации (так это называется).

[11, с. 75]

Гоблины-орки «вечно голодны» и способны съесть кого угодно, так что они еще и каннибалы. Во «Властелине колец» только страх перед Саруманом и Сауроном и приказы хозяев удерживают их от того, чтобы прямо на месте полакомиться хоббитами, взятыми в плен. Зло вообще часто описывается Толкином как нечто пожирающее и высасывающее, вампирически-людоедское. Таковы гоблины-орки, тролли, Горлум, демоническая паучиха Шелоб, обитающая на границах Мордора.

Шелоб была здесь прежде Саурана и прежде первого камня Барад Дура; и все это время занималась только одним делом: ублажала себя, высасывая кровь Людей и Эльфов, жирея и разбухая, непрестанно вождедая, свивая вокруг паутину мрака; все живое было ей пищей, а тьма — продуктом пищеварения. Ничего она не знала и знать не хотела ни о башнях, ни о кольцах, ни о каких других творениях рук и мысли. Она жаждала только смерти для всего живого, а для себя — удовольствия пожирать чужую жизнь и расти, расти безмерно, чтобы горы не могли вместить ее.

[8, с. 719]

Алчность, вождеделение, желание не просто править сущим, но буквально поглотить его — глубочайшая основа зла, примордиальный импульс, руководящий им. Вот и о Сауроне Горлум говорит:

— Нет, нет, хозяин! — застонал Горлум, цепляясь за него в отчаянии. — Не надо так! Не надо. Не бери Сокровище к Нему! Он съест нас, если получит его, съест весь мир!

[8, с. 635]

Но мы несколько отвлеклись. Вернемся от «природы» зла к его «культуре», если данный термин здесь применим. А он применим. Саурон и орки, возможно, совпадают с Шелоб в окончательной, эсхатологической перспективе, но все же сильно отличаются от нее в самосознании и каждодневном *modus operandi*, будучи более рациональным и духовным измерением зла, нежели утробным, хтоническим. Их-то как раз занимают «кольца и башни», и все дела рук и ума тоже. Они участвуют в истории, пускай в качестве негативного ее принципа. Поэтому им присущ определенный габитус, определенный стиль жизни и поведения. Саурон вынужден командовать орками (они — его солдаты), надстраивая над их примитивными разрушительными импульсами более сложную систему ориентиров и команд. Впрочем, даже его работа время от времени срывается и терпит крах. Орки грызутся между собой, они не переваривают друг друга, помимо официальных чисток и репрессий, устраиваемых властями Мордора. Описанная Гоббсом «война всех против всех» — нормальное для них состояние. Они постоянно соперничают за власть и главенство, и единственное, что удерживает их вместе, — это страх перед Сауроном и общая ненависть к чужакам, т. е. ко всем остальным, кроме себя.

— А ну вернись! — крикнул воин. — Вернись, или я донесу на тебя!

— Кому? Твоему драгоценному Шаграту? Он больше не начальник.

— Я сообщу твое имя и номер назгулу! — прошипел воин. — Начальником в крепости сейчас один из них.

Маленький орк остановился, в голосе его послышались страх и злоба.

— У, проклятый разбойник! — вскричал он. — Сам толком ничего не умеешь и еще грозишься! Убирайся к своим грязным крикунам, и пусть они сдерут тебе мясо с костей, если только враги не справятся раньше с ними! С главным-то они уже покончили, как я слышал. Надеюсь, что это правда!

Огромный орк прыгнул к нему, замахнувшись копьем. Но разведчик, припав на колено, пустил стрелу ему прямо в глаз, и воин с шумом рухнул. Стрелок кинулся бежать и вскоре исчез.

Некоторое время хоббиты сидели молча. Потом Сэм шевельнулся.

— Ну, что хорошо, то хорошо, — сказал он. — Если бы такие мир да любовь были по всему Мордору, почитай, полдела сделано.

— Тише, Сэм, — прошептал Фродо. — Тут могут быть и другие. Мы едва ускользнули, видно, за нами гонятся усерднее, чем я думал. Да, Сэм, таков дух Мордора, и, думаю, таков он везде. Говорят, что орки всегда грызутся между собой. Но надеяться только на это нечего. Нас они ненавидят гораздо сильнее, чем друг друга. Если бы эти двое увидели нас, то сразу поладили бы.

[8, с. 918]

Может, Фродо преувеличивает? Может, он наговаривает на бедных орков? Но нет. Когда он сам попадает к ним в руки, его правота по их поводу делается совершенно очевидной и исчерпывающей [см. 8, с. 900–901].

Орки очевидно грубы в общении; они жестоки к другим; они жестоки к самим себе. Физическое насилие, лингвистическая обсценность¹⁷, нравственный нигилизм и эстетическое уродство, экологическая деструктивность для них норма. Все признаки «черной культуры» налицо. Толкин добавляет к этому такие элементы откровенно девиантного поведения, как каннибализм и осквернение трупов. Совершенно непонятно, есть ли в орках не то чтобы что-то хорошее, но хотя бы что-то естественное. Мы ничего не знаем об их жизни, и есть ли она у них вообще, в привычном смысле слова. Они могли бы показаться просто злобными дикарями, карикатурой на «токсичную маскулинность», как это принято сейчас называть — если бы мы с полным правом могли, например, идентифицировать орков как *мужчин*. Но мы и этого не можем. Они — *твари*, порождения темной магии Моргота и Саурона. Нигде у них мы не видим ни орков-женщин, ни орков-детей — и поэтому все попытки современных «чувствительных» читателей и критиков изобразить Толкина автором «не столь однозначным», гуманизировать, насколько это возможно, темную сторону его мира — не работают. Есть лишь намек в речи старого энта, который говорит хоббитам, попавшим в его лес, что, не разобравшись, раздавил бы их, «приняв за маленьких орков» [8, с. 480]. И это все. Непонятно, имеет ли он в виду орков-детей или просто орков, небольших по размеру — такое прочтение тоже допустимо, орки различаются между собой габаритами. Фродо и Сэм встречаются в Мордоре как раз такую парочку.

Они прошли так еще три или четыре мили, и лагерь уже скрылся из вида, но не успели они вздохнуть свободнее, как услышали громкие резкие голоса. Беглецы быстро нырнули за бурый раскоряченный куст и притаились там. Голоса приблизились, и хоббиты увидели двух орков. Один был одет в коричневые лохмотья и вооружен луком; он был мал ростом, темнокож, с широкими,

¹⁷ Недаром ругательства признаются в христианстве одним из признаков нечистого духа.

шумно дышащими ноздрями, наверное, из проводников-разведчиков. Другой — огромный воин, вроде тех, какие были в отряде Шаграта. На шлеме он носил знак Красного Ока, за плечами тоже имел лук, в руке — короткое копье с широким лезвием. Как обычно, орки ссорились. Будучи разноплеменными, они говорили на Всеобщем языке, каждый со своим акцентом.

[8, с. 916]

Вот то небольшое, что об орках можно сказать с определенностью — что они, в соответствии со своим внешним видом, принадлежат к разным племенам или кланам. Гэндальф опять же намекает, что при создании урук-хайев — нового племени орков — Саруман скрестил уже имеющихся гоблинов с какими-то вырожденными людьми. Но как именно он это сделал, не уточняется. Неизвестно, способны ли орки к самостоятельной репродукции. В экранизации «Властелина колец» Саруман, подобно Фаусту, выращивает орков из какой-то магической протоплазмы (неприятно выглядящей) лавкрафтианского толка (вспоминаются «прото-шогготы» из «Хребтов безумия»).

Если и искать в орках «человеческое», то оно не там, где мы хотели бы его найти, фальшиво умиляясь ничем не оправданным мыслям об орочьем домике и семье. Оно, скорее, проступает в том, что орки обнаруживают какой-то призрак свободы воли. Они могут роптать на своих хозяев, втайне ненавидеть их и мечтать о какой-то мало представимой вольной жизни.

— А по мне, лучше бы ни там, ни там. Война началась. Когда она кончится, будет полегче.

— Говорят, все идет успешно...

— Посмотрим, — проворчал Горбаг, — посмотрим. Если она пойдет хорошо, то места будет больше. Что ты скажешь, если нам с тобой податься куда-нибудь с надежными ребятами, куда-нибудь, где добычи много и нет никаких начальников?

— Ха! — сказал Шаграт. — Как в старые времена...

[8, с. 732]

Но это все, на что они способны. Ясно, что орки, даже если бы они сбежали однажды от своих «начальников», остались бы орками. Никаких потенциалов к прогрессу, к изменению они не демонстрируют. И с культурой в прикладном смысле, т. е. способом, каким разумные существа (хотя бы в этом оркам не откажешь) обживают мир, у них тотальный дефицит. Их еда и питье убогие и мерзкие. Если в «Хоббите» гоблины еще поют какие-то песни, пусть и страшненькие, то орки «Властелина колец» полностью в этом плане безгласны. И когда Сэм думает: «Интересно, сложат ли когда-нибудь песню о том, как пал Сэм на тропе в Мордор, окружив мертвого друга грудой вражеских трупов? Нет, песен не будет, ведь если они найдут Кольцо, песен вообще больше не будет» [8, с. 729], — то, возможно, он имеет в виду не только то, что вся светлая сторона будет повержена и некому будет спеть о них, но и то, что победившая темная сторона не будет иметь для себя ничего подобного. Т. е. вообще в мире больше не будет песен, а не только песен эльфов, людей, хоббитов или гномов.

Конечно, орочья культура карикатурна и гротескна. Ужас нашей реальности не в том, что в ней есть орки (кто-то, кого мы назначили на эту роль), а то, что орков в ней *нет*.

С орками просто — они наглядное воплощение зла. Но как быть с тем, что и какие-нибудь законченные мерзавцы живут у нас не в жутких подземельях и черных крепостях, а вполне себе в обычных квартирах и домах, имеют семьи и детей, ходят в церковь, дарят женам цветы, загорают на солнышке и крутят любимые песни? Все это ведет нас к жутким разочарованиям, к моральному релятивизму, к допущениям вроде печально знаменитого «не все так однозначно». Кажется, человек настолько примитивен, что до сих пор не выучился действовать, не прибегая к мифологической раскладке. Это касается не только войн, но и прогресса нашего знания. Ведь мы верим, что движемся от тьмы к свету, что любое наше действие и состояние имеют моральные обертона, помещаются в неизбежный контекст самосовершенствования. Лишь когда мы устаем (или даже изнемогаем) в этой ловушке, понимая, что не в силах избавиться от себя, от бесконечного антропоцентризма, мы начинаем провозглашать тактики развоплощения и децентрации, прорыв «к самим вещам», раскрепощение сознания в свободный поток, сетевые структуры-ризомы и линии бегства Делёза — Гваттари. Когда-то философы верили, что подобным двоичным циклам и ритмам подвластна сама вселенная, что человек просто часть великого всеобщего процесса, угаданного Гераклитом, — и он мечется от себя вовне себя, и обратно. Позже это получило название диалектики и стало связываться не с единообразной космической пульсацией, но с самореализацией разума в истории. Суть этого движения понималась все меньше в рамках природного (или квазиприродного) механицизма, все больше допуская в себя Различие — и тем самым, Борьбу. Разные силы отвечали за центробежную и центростремительную ориентацию, силы, вовсе не обязательно пекшиеся о целом и мировой гармонии. Человеческая история разорвалась на народы, государства, партии, мечтавшие истребить друг друга. Все это сводилось заново в единство разве что в созерцательном философском взгляде, и это дало Гегелю основания предположить, что рефлексия имеет своей сущностью и целью то же, что мировая природная непротиворечивость, т. е. обладает онтологической образующей силой. Но в отрыве от столь демиургических амбиций, формально, мысль подтверждала свою правоту лишь по окончании исторических процессов, когда борьба затихала и итог того или иного противостояния сводился в ноль. Тогда выяснялось, что все это было лишь «моментом».

Тем не менее в диалектике был глубокий позитивный смысл. Обратное, противоположность противостоят не Тому Же Самому, но Другому. Обратное замыкает контур бытия, позволяя накапливать энергию в движении от одного предела к другому. Но если мы переходим не от Того Же Самого к Обратному и назад, а просто скитаемся от одного к другому, а потом к третьему, и так *ad infinitum*, вырабатывая их, как исчерпывают месторождения, тогда мы движемся в дурном, хаотическом, случайном порядке, перемещаясь между пунктами смысла, в которых нет ничего, кроме безжалостного и обреченного потребления. И нами начинает править вечный голод, сжигающий орков. Непонятно, что лучше — прикованность к образу бытия как вечного маятника, ходящего туда-сюда, или такой вот рыскающий варварский «капитализм».

С другой стороны, постоянная мифологизация нами всех наших битв и начинаний может иметь неожиданно позитивный, платонический извод. Платон утверждал, что человеческая душа созерцает в вечности истины бытия, память о чем продолжает руководить ею в земной жизни, куда она нисходит, чтобы потом вернуться обратно в вечность (снова двухтактный ритм). В конце концов, наше желание демонизировать противника может

объясняться не хитростями нашей воли-к-власти, а тем банальным фактом, что только в демоническом лике мы узнаем, припоминаем (слово Платона) нашего истинного противника. Человек создан не для того, чтобы сражаться с человеком. Все человеческие войны являются трагической ошибкой — или же происками дьявола, нашего вечного и единственного противника, который таким образом отвлекает нас от борьбы с ним, с кем только и надо бороться. Дьявол отводит внимание от себя, указывая на кого-то еще (нашего ближнего, которого мы должны любить, как самого себя), и кричит: «Вот он, дьявол! Ату его!» И мы бросаемся — не думая, не туда, по указке не тех. Но, как говорится, глупая собака смотрит на палку, а умная — на того, кто ее кинул.

Вернемся, впрочем, к культуре. Нас подводит язык, субстанциализация, заключенная в слове. Когда мы говорим «культура», то, за редким исключением, имеем в виду не нечто единое и квазиживое, а набор конкретных феноменов. Они объединены видово, их могут пронизывать долговременные общие *zeitgeist*'ы и традиции. Но в конечном итоге каждый случай надо рассматривать отдельно, иначе мы увязнем в загадочной спекуляции. Что нам делать — конкретно — с антисемитизмом Гоголя? С расизмом Лавкрафта? С гомофобией Данте? С мизогинией Ницше? Ссылаться ли нам на то, что художник/мыслитель просто фиксировал нравы своего времени — и, кстати, не сделай он этого, мы не имели бы важного исторического свидетельства? Или вздыхать, что никто не совершенен, и что даже величайшие сыновья и дочери своих «где-и-когда» разделяли многие, если не все ценностные установки своего окружения? Где начинается культура — и что намного важнее, где она заканчивается, переходя во что-то другое, что-то «над»? Мы вот как-то после Маркса неуважительно относимся к термину «надстройка». Но что, если весь смысл возводимых нами конструкций кульминирует именно в ней? У Толкина был красивый пример, показывающий, что вторичное может быть куда ценнее первичного — притча о башне, построенной из старых камней затем, чтобы с ее вершины было видно море [12, с. 7–8]. Что именно мы называем культурой — нравы Испании XVII века или роман Сервантеса, встающий над ними? Или не встающий, а поднимающий их вместе с собой, чтобы *свидетельствовать*: ессе homo, как я его застал?

Все эти вопросы, к сожалению, остаются прерогативой академических исследований. В пространстве политики и идеологии на них даются куда более топорные ответы, чем можно было бы ожидать от государств, считающих себя культурными и цивилизованными и, между прочим, тратящих некоторую часть своих бюджетов на упомянутые академические исследования. Непонятно, зачем они спонсируют интеллектуалов, если потом к ним не прислушиваются, а в трудные времена зовут мастеров плаката и специалистов по радикализации всего и вся. У которых все просто, все делится, почти что по завету Ницше, на Да и Нет — либо одобряем, либо запрещаем. И вот что мы видим сейчас. Одни радостно кричат: НЕ НАДО ничего делать с антисемитизмом, расизмом, гомофобией, мизогинией (не только имярека, но и в целом) — все это естественные, прекрасные, оправданные вещи, освященные веками и прописанные в главных наших текстах. Другие, наоборот, настаивают: ужас, ужас, все переписать, переделать, запретить, отменить, снести памятники, закрыть музеи, упразднить нарративы и парадигмы. И те и другие рвут по живому, примитивизируют, оглушают и озлобляют. Понятия превращаются ими в жупел, в молот, которым крушат оппонента, в средство идеологического контроля и прикрытие тотальной агрессии. Мы оставляем пространство мысли и снова увязаем в борьбе.

Литература

1. Алигьери Д. Божественная комедия. Пер. с ит. М. Лозинского. М.: Изд-во АСТ, 2022. 432 с.
2. Верн Ж. 80 000 километров под водой. Пер. с фр. И. Петрова. М.: Молодая гвардия, 1955. 384 с.
3. Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. Пер. с нем. Л. Добросельского. М.: Изд-во АСТ, 2018. 160 с.
4. Гумилев Н. Когда я был влюблен... М.: Изд-во Школа-Пресс, 1994. 624 с.
5. Лебедев А. Логос Гераклита. Реконструкция мысли и слова (с новым критическим изданием фрагментов). СПб.: Изд-во Наука, 2014. 533 с.
6. Огурцов А. Подавление философии. URL: <http://russcience.chat.ru/papers/ogur89sd.htm>. Дата обращения: 10.06.2028.
7. Рэнд А. Капитализм: Незнакомый идеал / Айн Рэнд; С добавлением статей Натаниэля Брандена, Алана Гринспена и Роберта Хессена; Пер. с англ. М.: Альпина Паблишер, 2011. 422 с.
8. Толкин Дж. Властелин колец. Пер. с англ. Н. Григорьевой, В. Грушецкого. М.: Изд-во «АСТ», 2019. 1184 с.
9. Толкин Дж.Р.Р. Возвращение Беорхтнота и другие произведения. Пер. с англ. Д. Афиногенова, К. Королева, С. Кошелева, В. Тихомирова. М.: ЭКСМО-Пресс; СПб.: Terra Fantastica, 2001. 352 с.
10. Толкин Дж.Р.Р. Сильмариллион. Пер. с англ. Н. Эстель. М.: Гиль-Эстель, 1992. 416 с.
11. Толкин Дж.Р.Р. Хоббит, или Туда и обратно. Пер. с англ. М. Каменкович. СПб.: Изд-во «Азбука», 2000. 672 с.
12. Толкин Дж.Р.Р. Чудовища и критики. Пер. с англ. М. Артамоновой. М.: Изд-во Elsewhere, 2006. 300 с.
13. Черняк Л., Роклин М. Завет и метафизика. Ф., И.: Изд-во «Маханаим», 2024. 464 с.
14. Шеллинг Ф. Философия искусства. Пер. с нем. П. Попова. М.: РИПОЛ классик, 2020. 524 с.
15. Элиот Т. Избранная поэзия. Пер. с англ. С. Степанова. СПб.: Северо-Запад, 1994. 448 с.

References

1. Alighieri D. *Bojestvennaya comedia* [Divine Comedy]. Moscow, AST Publ., 2022. 432 p. (In Russian.)
2. Chernyak L., Rocklin M. *Zavet i metafizika* [Covenant and Metaphysics]. Philadelphia, Jerusalem, Machanaim Publ., 2024. 464 p. (In Russian.)
3. Eliot T.S. *Izbrannaya poeziya* [Selected Poetry]. Saint-Petersburg, Severo-Zapad Publ., 1994. 448 p. (In Russian.)

4. Gumilev N. *Kogda ya byl vlyublen* [When I was in Love]. Moscow, Shkola-Press Publ., 1994. 624 p. (In Russian.)
5. Lebedev A.V. *Logos Geraklita. Rekonstrukciya mysli i slova (s novym krtiticheskim izdaniem fragmentov)* [Logos of Heraclitus. Reconstruction of thought and word (with new critical translation of fragments)]. Saint-Petersburg, Nauka Publ., 2014. 533 p. (In Russian.)
6. Ogurtsov A. *Podavlenie filosofii* [Philosophy Repressed]. URL: <http://russcience.chat.ru/papers/ogur89sd.htm>. Access data: 10.06.2028.
7. Rand A. *Kapitalizm. Neznakomyi ideal* [Capitalism. The Unknown Ideal]. Moscow, Alpina Publishers, 2011. 422 p. (In Russian.)
8. Schelling F. *Filosofiya iskusstva* [The Philosophy of Art]. Moscow, RIPOLO Klassik Publ., 2020. 524 p. (In Russian.)
9. Tolkien J. *Chudovisha i kritiki* [Monsters and Critics]. Moscow, Elsewhere Publ., 2006. 300 p. (In Russian.)
10. Tolkien, J.R.R. *Hobbit, ili Tuda i obratno* [The Hobbit, or There and Back Again]. Saint-Petersburg: Azbuka Publ., 2000. 672 p. (In Russian.)
11. Tolkien, J.R.R. *Sil'marillion* [The Silmarillion]. Transl. by N. Estel. Moscow: Gil-Estel Publ., 1992. 416 p.
12. Tolkien J. *Vlastelin Kolez* [The Lord of the Rings]. Moscow, AST Publ., 2019. 1184 p. (In Russian.)
13. Tolkien, J.R.R. *Vozvrashenie Beorhtnota i drugie proizvedenia* [The Homecoming of Beorhtnoth]. Transl. by D. Afinogenov, K. Korolev, S. Koshelev, V. Tikhomirov. Moscow: EKSMO-Press Publ., Saint-Petersburg, Terra Fantastica Publ., 2001. 352 p.
14. Verne J. *Dvadzat' tysiach lje pod vodoi* [Twenty Thousand Leagues Under the Sea]. Moscow, Molodaya Gvardiya Publ., 1955. 384 p. (In Russian.)
15. Wittgenstein L. *Logiko-filosofskii traktat* [Tractatus Logico-Philosophicus]. Moscow: AST Publ, 2018. 160 p. (In Russian.)

Culture and evil

Nikolai N. Murzin,
research fellow, Institute of Philosophy RAS,
ORCID 0000-0002-0439-2019
shywriter@yandex.ru

Abstract: We live in turbulent times, when the very foundations of societies, cultures and civilizations — along with the ethical, political and even scientific norms that until recently seemed unshakeable — are undergoing a Nietzschean ‘revaluation of values’. In truth, they were never unshakeable — everything in history changes and is re-examined. Perhaps, from some point in the future, today’s ideological wars will seem to our descendants as something quite trivial. Nevertheless, for us living ‘in the moment’, it is difficult to shake off the apocalyptic feeling of a world that is not merely changing, but literally crumbling. For now, these feelings are localized; the apocalypse is engulfing only isolated segments of space and time. The dispute between truth and falsehood, unfortunately, is not resolved in offices or on blackboards, but on the battlefields, and the

toll is measured in bodies and lives. This, more than anything else, demonstrates how far we are from the longed-for 'end of history', and how prone we still are to proving truths with blood rather than words and figures. Battles rage not only over territories and resources. To no lesser, and indeed to a greater extent, they touch upon the meanings through which people construct their identity. And here it is culture that comes under attack — the precious accumulation of the human spirit. Culture is being mobilized and attacked. It is not allowed to remain on the sidelines, and this very 'on the sidelines' stance raises ever more questions, if not outright angry rejection. Culture is drawn into the conflict, persecuted, accused. Whatever the outcome, one thing is clear — it will never be the same again.

Keywords: culture, conflict, evil, humanity, peace, Tolkien